Дидье ван Ковеларт

Мой настоящий отец

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Семилетний Дидье уже приготовился хоронить больного отца, но свершилось чудо, и отец не умер. Надо сказать, чудеса преследовали его всю жизнь: в детстве он чудом прокормил семью, в юности чудом не стал убийцей, чудом не погиб на войне, а после нее чудом избежал расстрела. Он дожил до девяноста лет и даже после смерти не перестал творить чудеса. Похоронив отца по-настоящему, сын решил написать книгу, все вспомнить, все рассказать и во всем признаться. Это книга о чуде, об обмане, о любви. Это книга о его отце.

Дидье ван Ковеларт — знаменитый французский писатель, лауреат Гонкуровской премии, драматург и режиссер. Его тонкие, трогательные и ироничные романы давно завоевали сердца российских читателей. В автобиографии «Мой настоящий отец» нет ничего, кроме правды, хотя поверить в это нелегко.

- Дидье ван Ковеларт
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8
  - ○ 9
  - ○ 10
  - ○ 11

- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55

○ 56
○ 57

Дидье ван Ковеларт
Мой настоящий отец

Мне было семь с половиной, когда ты умер в первый раз. Я раньше времени вернулся со дня рождения одноклассника, вы с мамой были в спальне и разговаривали.

— Как только откажут ноги, пущу себе пулю в голову. Вы же не собираетесь возить меня в инвалидном кресле? Не хочу быть Дидье обузой.

Ты тогда едва мог стоять, опираясь на костыли. И я улыбнулся сквозь подступившие слезы. Покончить с собой во имя других — такое мог придумать только законченный эгоист. Да, в этом был весь ты. Выбирая из двух зол меньшее, я бы предпочел катить твое кресло, а не идти за твоим гробом. Но это была твоя жизнь и право выбора принадлежало тебе. Обжаловать решение не имело смысла — адвокатом в семье был ты.

В тот день я «осиротел» и решил стать писателем. Ты успел пробудить во мне творческое воображение, рассказывая мне на сон грядущий невероятные истории. Чудесное занятие — сидеть дома и предаваться фантазиям: ни тебе начальника, ни коллег, ни докучливых клиентов. Жизнь стала моей первой писательской лабораторией, где я испытывал, оттачивал и переиначивал свои выдумки в зависимости от реакции слушателей. Я превращал современников в подопытных кроликов, готовя их себе в читатели. Врал я изощренно, под каждого нового слушателя сочинял себе новую биографию, а чтобы не запутаться, все записывал, искусно смешивая литературный вымысел и откровенное вранье.

Но теперь оказалось, что я должен срочно готовиться к роли главы семейства. Если ты убьешь себя, мне придется зарабатывать на жизнь гонорарами за то, чему ты меня научил: умению встряхнуть людей, подарить им мечту, увязать смешное и трогательное, абсурд и вымысел, «рассмешить, проветрив мозги», как ты любил повторять. Под влиянием твоих литературных пристрастий я выбрал для себя жанр социально-психологического триллера с эротической, так сказать, компонентой и наивно воображал себя новатором. Я называл это «изучением нравов». Эдакая гремучая смесь из Сименона, Сан-Антонио и тебя в равных долях. Подбадривая себя, я на первой странице каждой тетради записывал, взяв в кавычки, самолично сочиненные «газетные» рецензии, вроде этой: «Свежо, стильно, успех гарантирован».

Ты был рожден, чтобы стать писателем, но в силу

обстоятельств — гибель отца на фронте, необходимость кормить семью, предательства близких — не смог посвятить себя любимому делу. Я решил подхватить эстафету. Пытался осуществить твою детскую мечту прежде, чем ты убьешь себя, хотел, чтобы ты покинул этот мир с ощущением, что хотя бы одно дело точно довел до конца. Я не просто был уверен в скором расставании, но жил с ощущением уже случившейся потери и в неполные восемь лет чувствовал себя взрослым. Я забыл о школе, забросил домашние задания и писал по десять страниц в день, планируя создавать по роману в семестр. События мая 68-го позволили мне выполнить задуманное. Несколько раз в неделю мне снился один и тот же кошмар: мы хороним тебя, а у меня на рукаве вместо траурной повязки повязана красная лента с надписью «Гонкуровская премия».

Детский психоаналитик наверняка связал бы мое решение писать *вместо тебя* с чувством вины. За ту самую аварию. Когда я родился, ты так спешил вернуться из-за границы после тяжелого затянувшегося процесса, что заснул за рулем в департаменте Верхний Вар, автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся пять раз. Ты получил многочисленные ушибы, вывихнул плечо, сам его вправил и прошел пешком три километра до ближайшей больницы. К несчастью, врачи проглядели трещину в шейке бедра, из-за чего правая нога постепенно становилась короче, причиняя тебе невыносимые страдания. Я понимал, что запас твоего терпения истощился, и заранее простил тебе объявленное самоубийство. Каждый мой роман начинался одним и тем же посвящением: *«В память о моем отце, который свел счеты с жизнью. Я не в обиде и люблю тебя».*

А потом случилось чудо: в сентябре 1969 года хирурги вытянули твою ногу на восемь сантиметров, и ты прожил еще сорок лет. Писательство я не бросил, да и ощущение сиротства осталось при мне — слишком долго вживался в роль! — вот и остался сиротой при живом отце. Бывает, человек худеет на двадцать кило, и все вокруг делают ему комплименты, а он по прежнему комплексует из-за своих «габаритов».

Все те долгие годы, что я оплакивал тебя, ты то оперировался, то болел, то выздоравливал, бил рекорды по остановке дыхания, играл в теннис, бегал на лыжах, впадал в депрессию, возрождался к жизни, короче, демонстрировал силу духа, которой нипочем любые испытания, и только когда ты умер 30 сентября 2005 года — мне было уже сорок пять, — я наконец избавился от жившей в душе навязчивой мысли о твоей смерти, словно бы дав тебе «вольную».

*

На похоронах твой хирург и лечившие тебя врачи — вы стали друзьями, хоть у них и были причины иметь на тебя зуб — своей живучестью ты бросал вызов медицине! — обсуждали твои рентгеновские снимки. Они не понимали, как ты ухитрялся ходить, плавать и танцевать с тремя искусственными суставами и болезнью Форестье,[1] от прогрессирующей кальцификации позвонки у тебя срослись и покрылись остеофитами. Очень долго, сам того не ведая, ты был живым свидетельством успеха французской медицины: тебе первому успешно спротезировали тазобедренный сустав, и все ортопедические конгрессы открывались демонстрацией твоих рентгеновских снимков. Твоя шейка бедра из дюралюминия продержалась целых тридцать шесть лет и была достойна упоминания в Книге рекордов Гиннесса. Потрафил ты и дерматологу, сумев избавиться от неизлечимого грибка, разрушавшего твои ногти еще со времен Второй мировой войны.

— По крайней мере, умру с чистыми руками, — без ложной скромности говорил ты.

На панихиде в церкви и на кладбище люди разных поколений воздавали тебе должное, повторяя один и тот же бередящий душу вопрос: «Кто же теперь будет нас смешить?». Неутомимый комедиант, уморительный, неуправляемый, эгоцентричный и на редкость великодушный, ты шагал по веку, превращая свои трагедии в жизненный прорыв,[2] страдания — в энергию созидания, хроническую депрессию — в убийственный юмор, а толику наследственного безумия — в педантизм в работе.

Неподкупный адвокат и неутомимый клоун, герой войны и рьяный антимилитарист, человек правых убеждений, пользующийся уважением коммунистов еще со времен оккупации, поскольку долгие годы защищал интересы профсоюза работников общественного транспорта Ниццы, крупный землевладелец и реформатор законов об аренде, завоевавший особое расположение крестьян из долины Вара, которых ты спас, сумев истолковать в их пользу эти самые законы (отныне, если арендодатель хотел изъять землю и передать подрядчику, компенсацию крестьянину начисляли, обсчитывая всю землю, а не только предназначенную на сельхознужды), спортсмен, залатанный и отлаженный на манер биороботов из телесериалов 70-х «Бионическая женщина» и «Человек на шесть миллионов долларов», — ты до самого конца оставался верен себе со всеми своими противоречиями, достоинствами и недостатками, превращая в шутку все, что причиняло тебе боль. «Я — вольный

дух, но носки сам надеть не могу». То был боевой клич ветерана, всегда готового вернуться в строй и прийти на помощь тем, кому повезло еще меньше.

Ты любил поговорить — и умел держать язык за зубами, мог быть легкомысленным и твердым, как скала, непрошибаемым и излишне чувствительным, свирепо защищать справедливость и спасовать перед подлецом. Из-за спора с новыми савойскими соседями, незаконно претендующими на сервитут проезда, ты нажил рак. Коллега подвела тебя, проявив небрежность, и все последние месяцы жизни ты копался в «доисторических» документах, прецедентах и вещественных доказательствах. Ты вел себя как параноик во власти одной единственной навязчивой идеи и наконец извлек на свет божий имущественные акты XIX века, неоспоримо подтверждавшие твои законные права, на которые твоя адвокатша отказалась ссылаться под тем нелепым предлогом, что ксерокопии вышли не слишком четкими. Ты всегда до конца сражался за интересы клиентов и был раздавлен необъяснимым, а возможно, и преднамеренным поражением тех, кто якобы защищал твои интересы. Проиграв процесс, ты потерял не только землю, но и себя самого.

Вирус предательства, преследовавший тебя всю жизнь, в конце концов взял верх над твоими «антителами»: воображением, равнодушием к материальным благам и умением прощать. Я оказался бессилен. Я всегда «разгонял облака» у тебя над головой, но теперь мои попытки рассеять сгущавшуюся вокруг тебя ярость, лишь ускорили конец. Ты считал, что тебя не понимают. Не хотел отвлекаться от этого последнего в жизни сражения. Отвергал помощь. Категорически. Не слушал ни советов, ни увещеваний. Ты жаждал справедливости. И добился ее, выиграв дело в апелляционном суде. Посмертно.

Надеюсь, ты счастлив там, где оказался. Ты «достал» нас этой историей. Так что, если и там что-то не так, умоляю — наплюй. И стань собой. Прошу тебя. Ты был фантастической личностью и не должен остаться в памяти людей мстительным маньяком, одержимым удобством подъездного пути к своей загородной резиденции.

— Если не возражаешь, летом я буду делать вид, что не так уж и сильно люблю тебя. И в пасхальные каникулы тоже.

— О'кей, папа. Как скажешь.

Был у нас тогда такой тайный уговор. Даже сговор. Комплот. Б***о***льшую часть года ты принадлежал мне, и только мне, но с наступлением летних каникул и на Страстн***о***й неделе мы отправлялись в Савойю, на воды, где ты принимал лечебные ванны, они приносили тебе облегчение. Туда к тебе приезжали из

Парижа два моих сводных брата и сестра со своими детьми. Ты посвящал им все свободное от процедур время, а я был статистом. Артистом второго состава. И эта роль мне безумно нравилась. Я воображал себя Хичкоком, который во всех своих фильмах на короткое мгновение появлялся в кадре за спиной своих героев.

Ты обожал своих детей от первого брака и скучал по ним, а я-то всегда был рядом, так что при них ты демонстративно вел себя со мной с ироничной небрежностью, подсмеиваясь над моим графоманством. Я все терпел стоически. И ликовал, ощущая себя постановщиком действа под названием «семейное воссоединение», из которого был добровольно исключен. В семь лет я был умен не по годам, с возрастом — увы! — это стало проходить: соглашаясь на роль нелюбимого, сосланного на чердак пасынка, я мог в свое удовольствие предаваться литературным опытам.

*

Я сижу за потемневшим от времени — он служил нам сорок лет — ореховым столом, спешу дописать эти строки и наслаждаюсь последними часами общения с домом. Во второй половине дня я наведу подобие порядка в заросшем саду, пущу людей из агентства по недвижимости и расстанусь с последним уголком детства. Остальное уже продано, уничтожено, заменено на другое и существует лишь в моей памяти, где ему не угрожают разрушение, запустение и новые соседи.

Мне все также хорошо в нашем савойском доме, но сейчас он причиняет мне боль. Приезжаю я сюда редко — оборудовал несколько других писательских берлог, но наша связь не прерывается даже на расстоянии. Двадцать лет назад мне приснился вещий сон, почти кошмар: я на чердаке, пишу, но огромное ореховое дерево больше не протягивает ветви в мое окно. И вдруг я слышу визг электрической пилы и просыпаюсь в липком поту. Через несколько месяцев сосед спилил дерево, чтобы выкопать бассейн.

Время от времени дом зовет меня на помощь. Я чувствую, что он устал от разлуки. Семья больше не приезжает, мама затаила на него обиду; стенам нужны новые обитатели, новые мечты, полноценная жизнь…

Волей-неволей я в конце концов признал очевидную истину: место, где ты воскрес, стало причиной твоей смерти. В 1969-м ты сделал здесь первые шаги после операции: я поддерживал тебя, гордясь, что мы поменялись ролями, и помогая тебе снова встать

на ноги. Здесь ты заново учился ходить по лестницам, снова начал что-то мастерить, к тебе вернулся вкус жизни. И здесь же тридцать пять лет спустя ты снова поддался гневу, впал в депрессию, ощутил уныние и ущербность из-за конфликта с молодой парой, унаследовавшей владение старых крестьян (оно примыкало к твоему со стороны улицы), с которыми тебя полвека связывали тесная дружба и сервитут проезда.

Больше всего на свете я любил этот приземистый дом в глубине тупика и маленький треугольный сад со старыми деревьями. Мой дом — курорт с чердаком-кабинетом, куда я приезжал с запасом затычек для ушей, вешал на перила табличку «Я РАБОТАЮ» и писал, пытаясь не реагировать на вопли резвящихся на лестнице племянников и племянниц. Дом был моим офисом, где я однажды летом — мне было тогда восемь лет — впервые в жизни получил заказное письмо. Это был перепечатанный твоей секретаршей текст романа, и я торжественно именовал его версткой.

Мои рукописи были исчерканы вдоль и поперек, и я наговаривал текст на магнитофон, выделяя голосом пунктуацию, орфографию и речь моих героев (*Жертву звали Владимир через «и», госпожа Вандром, спасибо, точка, с новой строчки, откройте кавычки. «Он из КГБ» — прописными буквами и сноска внизу страницы: «Тайная полиция в СССР», закройте кавычки, запятая, пробормотала инспекторша, точка, пропустите три строчки*).

Милая госпожа Вандром, целых десять лет бесплатно и тайком от работодателя она перепечатывала тысячи страниц моих сочинений. Да я еще и отчитывал ее, требуя, чтобы она внесла исправления: «Черт возьми, госпожа Вандром, здесь ведь с новой строчки, я же указал! И как можно печатать без пробелов!» Для «левой» работы, твоя секретарша использовала казенную бумагу, вот и экономила, сокращая поля и убирая пробелы, чтобы не вводить тебя в расход. В результате мой машинописный текст смахивал на протоколы судебных заседаний. Рукописи выходили «слепыми», и когда издатели отказывались принимать их в таком «спрессованном» виде, я, естественно, обвинял во всем мадам Вандром, которая, ко всему прочему, позволяла себе править мои каламбуры.

Твоя секретарша, уроженка северной Франции, оказавшись волею судеб в наших солнечных краях, продолжала носить черные платья с кружевным воротничком, была педантична, щепетильна, безгранично предана тебе — и вела двойную жизнь: сидя в наушниках перед моим магнитофоном, она частенько забывала о ждущих в приемной клиентах. Иногда я подглядывал за госпожой Вандром и видел, как она улыбается, одобрительно

кивает или возмущенно поджимает губы, вслушиваясь в мой голос. Она была моим первым читателем.

Ты узнал о нашем тайном сотрудничестве только через три года. Из гордости и осторожности я тайком от тебя посылал романы издателям и все ждал, когда придет наконец положительный ответ, чтобы сделать тебе приятный сюрприз, осуществив мечту твоей жизни. Однажды ты случайно вскрыл конверт из издательства «Галлимар» — они не удосужились написать на нем имя адресата — и обнаружил мою рукопись. Удивление («Да это же… Дидье написал!») тут же сменилось недоумением («И на моей машинке!»). Я раз сто видел, как ты разыгрывал эту сцену перед друзьями. Ты был таким замечательным артистом, что я так и не понял, искренне ты изумился, вскрыв конверт, или с самого начала втихаря одобрял поведение твоей секретарши.

— Клянусь, я вас не выдала: он ни о чем не догадывался, — уверяла меня достойнейшая мадам Вандром.

Как бы там ни было, с того дня ее «левак» по перепечатке моих детских триллеров все-таки подпортил ваши отношения. Ты терпеть не мог проволочек в работе и то и дело выскакивал из кабинета со стопкой документов, чтобы поторопить ее:

— Мадам Вандром, срочно перепечатайте заключение по делу Барелли.

— Минутку, мэтр, я заканчиваю главу Дидье.

За всю жизнь ты проиграл всего несколько процессов, и в одном из поражений был косвенно виноват я: заключение передали в суд слишком поздно.

— Что поделаешь, — сказала твоя секретарша в тщетной попытке оправдать меня. — Там такой напряженный сюжет, я не могла оторваться.

В результате на мое пятнадцатилетие ты подарил мне пишущую машинку. Намек был ясен: пора становиться самостоятельным. Но вынужденный простой в благотворительной работе незамедлительно сказался на настроении мадам Вандром.

Постная физиономия твоей секретарши, в конце концов надоела тебе:

— Ладно, следующий опус отдай печатать ей, — сдался ты.

— Что поделаешь, мэтр, — вздыхала она с видом философской покорности судьбе, — читая Дидье, забываешь обо всем на свете. И потом, это так забавно…

Я совершенно уверен, что мадам Вандром — единственная женщина, к которой ты меня ревновал. Вы были ровесниками, но она тебя пережила и в свои девяносто с гаком остается моим самым старым другом, последним свидетелем того, как все

начиналось, не считая мамы. Только мама никогда не была моей поклонницей — «для твоей же пользы!», говорила она — и, наверное, была права. Когда у меня выходит новая книга и я составляю список бесплатной рассылки, первый экземпляр всегда получает мадам Вандром. Ее дочь и зять, один из организаторов книжного фестиваля в Ницце, уверяют, что старушка держится только благодаря мне, живет от романа до романа и ждет появления нового, не без оснований считая, что каким-то образом все еще помогает мне в работе.

Получая книгу, она всякий раз откликалась. Но, по этическим соображениям, адресовала письма тебе («Дорогой мэтр, спасибо за книгу, которую Дидье так любезно подписал мне…»).

Теперь она пишет моей матери.

Но вернемся к нашему дому. Здесь зарождались и воплощались мои замыслы, здесь я вычитывал «верстку», исправлял опечатки и убирал самовольную правку Вандромши. Здесь же, в этом шумном, полном людей доме, на чердаке-кабинете и по совместительству спальне, я познавал одиночество. Истинное. Неподдельное. Здесь я учился отгораживаться от других, хотя, по собственному определению, был «сводным сыном» и одиннадцать месяцев в году жил один, в собственной комнате. Этот дом был наполнен смехом и буйством, которые я пытался заглушать берушами, а иногда подключался сам, чтобы направить энергию племянников в нужное русло, а потом обрести за это немного покоя.

Не в силах «заткнуть» моих племянников и племянниц, я писал для них сценарии. Ты снимал нас на камеру, но так хохотал, что качество получалось неважнецкое. Обрядившись в твои костюмы, закатав штанины и подвернув рукава, мы изображали кровожадных мафиози, сражающихся за любовь прекрасной Аделины, твоей старшей внучки, которой я доверял все женские роли — злобную старуху, повязанную авоськой вместо платка, силиконовую женщину-вамп (грудастость достигалась с помощью двух рулонов туалетной бумаги).

В этом доме я постоянно мигрировал из одного лагеря в другой, то резвился с малышней, то принимал участие в играх взрослых, когда они впадали в детство. В этом доме еще живут, переплетаясь с эхом наших детских баталий, отзвуки безумств, в которые ты вовлекал Клод, Тьерри, Франсуа и обеих Катрин, разыгрывая пародии на политические дебаты, рекламные ролики и разных певцов и устраивая грандиозные вечеринки с пасхальными яйцами.

Уложив спать малышню, ты превращал столовую в

художественную мастерскую и, подобно Рембрандту, переходил от одного ученика к другому, стараясь приобщить своих детей к утонченному искусству карикатуры на скорлупе. Они вечно злоупотребляли акварелью и нестираемыми маркерами. Наутро ты звонил в колокольчик и объявлял детворе, что «охота за яйцами» начинается, они бросались их искать, и твоя невестка-диетолог с ужасом обнаруживала, что краски просочились через скорлупу. Она сейчас же запрещала младшим есть их трофеи, но, как известно, запретный плод сладок, и они все равно съедали произведенные под твоим присмотром художественные шедевры. Я тоже старался от них не отстать, чем выражал сыновнее уважение.

В общем я так радовался всей этой суете, которая летом и на Пасху нарушала мой строгий рабочий график, что всякий раз в день приезда устраивал себе наблюдательный пункт в нашем тупике, на который как раз и посягали новые соседи.

Я сидел на краю дороги за маленьким круглым столиком, на маленьком плетеном стульчике, с «версткой», красной ручкой, чтобы править опечатки, и шоколадкой *«Микки Парад»* для подкрепления сил, и караулил, когда в конце длинной прямой дороги появятся наконец парижские «рено» или «ситроен».

Каждые пятнадцать минут ты присоединялся ко мне, отрываясь от приготовления барбекю, чтобы перезаключить пари насчет того, кто из твоих взрослых детей приедет первым. Конечно, ты был смущен, ведь предстояло в ближайшее время изображать равнодушие по отношению ко мне и полностью посвятить себя им, и ты пытался хоть на несколько минут продлить нашу близость, но я входил в роль и отвечал односложно, цедя слова сквозь зубы. Мне очень нравилось пять недель в году изображать нелюбимого сына, а потом наслаждаться моим добровольным, строго дозированным одиночеством и нашим общением. Ты говорил, что твои «взрослые» дети так страдали из-за развода родителей, что я чувствовал себя немного виноватым, хотя родился только через шесть лет после вашего с Клоди расставания. Я обожал это чувство вины, оно служило мне источником вдохновения и вполне годилось для будущей рекламы, — я широко использовал его в своих интервью, к которым готовился с девяти лет, собираясь впоследствии принять участие в передаче «Рентгеноскопия». Слушал каждый день после обеда «Франс-Интер», записывал в блокнот излюбленные вопросы Жака Шанселя и шлифовал ответы, чтобы не попасть впросак, когда придет наконец мой черед.

— Скажите нам, Дидье ван Ковеларт, как становятся Дидье

ван Ковелартом?

— Это долгий путь, Жак. Для начала надо столкнуться с несправедливостью: стать ее жертвой и ее виновником, пусть даже невольным.

Десять лет спустя, когда вышла моя первая книга, я тут же выпалил этот ответ в микрофон тем самым серьезным тоном, что выработал в свои десять лет и расхохотался, как безумный. Ведущий умело сгладил неловкость. Это был странный, гнетущий и в общем-то не очень веселый смех, я словно скинул с себя нервное напряжение, из-за которого чувствовал себя взрослым в том возрасте, когда другие дети играют в шары. Я никогда не был вундеркиндом. А вот галерным рабом, пожалуй. Я без устали эксплуатировал себя, вкалывал, как рудокоп, и буду продолжать в том же духе до последнего вздоха, пока не доберусь до самого дна шахты. Такая у меня судьба, такие правила игры, таков мой долг. Все остальное проистекает из моего выбора, и я над этим не властен.

*

Каникулы в Савойе имели еще одну положительную сторону. Наш сад граничил с парком усадьбы «Живая Вода», где когда-то жил член Французской Академии Даниэль Ропс. Росший у ограды орех помог мне свести знакомство с вдовой академика Мадлен. Она когда-то подарила тебе его роман «Смерть, где твоя победа?», толстенный том в твердой обложке, видно, хотела компенсировать ущерб, нанесенный нашим гортензиям во время обрезки дерева. Я прочел книгу, заев ее двумя батончиками *«Микки Парад»,* и Мадлен считала меня последним живым специалистом по творчеству мужа, которого никто больше не читал. Я мало что понял, но умело и к месту цитировал классика. За это она рассказывала мне — через загородку — об их семейной жизни, и я почерпнул из этих откровений массу ценнейших сведений о том, как должен вести себя писатель в общественной жизни и в быту.

Даниэль Ропс,[3] урожденный Анри Петио, писал исторические романы о Мессии (как-то раз позавидовавший тиражам его книг собрат по перу воскликнул при виде нового норкового манто Мадлен: «Иисус воистину милостив…»), заправлял популяризацией Священного Писания и имел мало общего с Фредериком Даром, сиречь Сан-Антонио, другой легендарной фигурой, с которой я в то время лепил свой образ литератора. На самом деле, меня привлекал не столько Даниэль

Ропс, сколько его кабинет, в стоявшем на отшибе старом павильоне со сводчатыми окнами, где огромный, как в монастырской трапезной, стол соседствовал с панцирями черепах — вторым после Иисуса страстным увлечением классика.

Я попросил у вдовы позволения взглянуть на настоящий писательский кабинет, объяснив, что «тоже принадлежу к цеху». Она едва заметно улыбнулась, кивнула и наблюдала с порога, как я собираюсь с мыслями перед оставленным в «рабочем состоянии» письменным столом. Я действительно был взволнован и постарался, чтобы Мадлен это заметила. Она сказала, что я могу приходить, когда захочу, и даже работать.

Вернувшись домой, я мыслями продолжал пребывать по ту сторону ограды. Я нашел для себя настоящий рабочий кабинет. У Даниэля я попадал в мир своих грез, в ту самую обстановку, где мог творить, и ради этого готов был ухаживать за восьмидесятилетней вдовой.

Когда Мадлен Ропс приглашала нас выпить чаю (я по блату получал чипсы и кока-колу), она уже через четверть часа отпускала меня:

— Ты можешь пойти поиграть.

Мадлен имела в виду «поиграть в моего мужа». И украдкой подмигивала мне, что говорило о нашем полном взаимопонимании. Я чувствовал, что тебя это раздражает, и был очень доволен: у меня появился свой собственный круг общения, а ты мог заниматься другими своими детьми.

— По-моему, она аморальна, — говорил ты маме.

Мама не принимала твои опасения всерьез: вдова академика была кто угодно, но только не педофилка, это я был геронтофилом. И был влюблен в старый письменный стол.

Я шел французским парком до павильона, отпирал дверь полученным от Мадлен ключом, входил, привычным жестом гладил гигантские панцири, садился в большое кожаное кресло, подпирал ладонью подбородок и воображал себя академиком, ожидающим, когда на него снизойдет вдохновение.

В кабинете все осталось так, как было при жизни писателя. Перо лежало перед чернильницей, словарь был открыт на букве «Б», на верху страницы начата и не закончена фраза: «В назначенный день они сцепились языками и не…» Я попытался написать продолжение, полагая, что в первый раз будет проще опубликоваться в соавторстве с известным классиком: я оживлю память о нем, а он поможет мне сделать имя. Увы, мое сотрудничество с покойным коллегой началось с недоразумения, потому что выражение «сцепились языками» я истолковал, как «страстно поцеловались». Три страницы «мягкого» порно,

которыми одиннадцатилетний автор продолжил незаконченное произведение великого католического писателя, были преподнесены наследнице его авторских прав в подарок на день рождения и заинтересовали ее. Во всяком случае, Мадлен захотела прочесть другие мои произведения и стала моей первой «профессиональной» читательницей. Ее кисло-сладкий вердикт был вынесен высокомерным тоном и состоял из двух упоительных слов: «Это понравится». Она объявила, что сама займется моей карьерой.

Четыре лета подряд я питал постепенно угасавшую надежду, что мадам Даниэль Ропс способна оказать влияние на парижских издателей. Потом она умерла, а я так и не получил ни одного отклика на рекомендательные письма, которыми, по уверениям Мадлен, она бомбардировала издательства «Файяр», «Грассе», «Ливр де Пош» и «Зеленую Библиотеку».[4] Это навсегда отучило меня полагаться на посредников, но ничуть не умалило благодарности, которую я испытывал к моей «каникулярной знакомой». Мадлен часто говорила, что я поднимаю ей настроение в те дни, когда она чувствует себя совершенно забытой друзьями мужа, и я раздувался от гордости.

Поначалу я лишь изображал восхищение этой женщиной, потом стал ее искренне жалеть и в конце концов полюбил, потому что в нашем городке больше ее не любил никто. У нас Мадлен не слишком жаловали: она была прямолинейной, откровенной, желчной и проницательной. И внешность ее вызывала антипатию: длинное лошадиное лицо, никакого макияжа, и никаких украшений, она всегда ходила в старых клетчатых брюках, которые вечно забывала застегнуть. «Не похожа она на владелицу замка», — ворчали люди. Она на бешеной скорости разъезжала на стареньком «рено», груженом мешками с цементом. Но главное — она сбивала с верного тона церковный хор.

— Ну как же они фальшивят! — возмущалась она, и, когда местные святоши во время службы упивались вокализами, «била их влет» своим «до» верхней октавы.

Дважды за лето Мадлен приглашала меня пообедать в пиццерии, где я наслаждался косыми взглядами савояров. «О нас судачат», — ехидно замечала Мадлен. В машине она пела мне Жоржа Брассенса: «*Средь селян, скажу вам честно,/мненье обо мне нелестно/Буйно пью иль мирно ем,/все слыву бог знает кем…*»

В остальное время года мы с Мадлен переписывались. В зимней школе в Вальберге я получал от нее открытки в конвертах с логотипом Французской Академии, что подкрепляло мою легенду: я охмурял инструкторш, уверяя, что мой роман вот-вот увидит свет. Помню некую Брижитт эдакую пышечку, которой я

сумел внушить, что скоро займу кресло Андре Моруа. Она уже видела меня в Академии, разгуливающим в сюртуке с лацканами и брюках с лампасами, расшитых зелеными узорами.

Как-то раз в воскресенье, когда к нам приехали родители, она отозвала тебя в сторону и поинтересовалась, есть ли у меня шансы быть избранным, несмотря на юный возраст. Ты на полном серьезе подтвердил: мол, Французская Академия подобна некоторым престижным школам — туда надо записывать ребенка сразу после рождения, тогда место обеспечено. Ты даже подсказал Брижит идею устроить небольшой благотворительный сбор и пообещал, что самых щедрых дарителей пригласят на посвящение.

Брижит собрала двадцать восемь франков пятьдесят сантимов и торжественно вручила их мне в запечатанном конверте — от повара и себя самой. Время от времени она приезжает повидаться со мной на Книжную ярмарку в Ницце. Она стала заместителем директора очистной станции, но при каждой встрече с оттенком ностальгии в голосе интересуется, что сталось с ее вложением.

В отношении Мадлен Ропс ты сменил гнев на милость, и вы стали друзьями, потому что благодаря ей ты смеялся так, как никогда в жизни. Эта история связана с именем Жана Жореса. Сколько себя помню, ты к месту и не к месту цитировал одну фразу великого лидера французских социалистов: «Если усомнился в человеке, пусть твоей целью будет человечество!». Я сопровождал эту фразу воинственным взмахом руки, на который никто никогда не обращал внимания — до Мадлен.

— С чего это он, цитируя Жореса, делает вид, что нажимает на курок пистолета? — как-то спросила она.

И ты вдруг осознал, что я понимаю эту сокровенную мысль великого гуманиста как боевой клич. Моя песня была спета. Очень скоро все от Дворца правосудия до цветочном рынка и муниципальной школы были в курсе, как своеобразно я интерпретировал мысли Жореса. Ты никогда не упускал случая повеселить окружающих моей глупейшей ошибкой, и даже двадцать лет спустя, помянул об этом, выступая на одном из тех ужасных ток-шоу, где ведущий распрашивает членов семьи героя передачи, чтобы полнее представить его слушателям.

Ты просто не мог удержаться, чтобы не рекламировать меня, пусть даже превращая порой в посмешище. Я никогда не обижался. Тебе удалось воплотить в жизнь недостижимую мечту большинства отцов: твой сын любил тебя, как учителя, и ценил, как соратника.

И все же… все же… все же… «Не пустишь виноград под пресс, не выпьешь вина», говорят виноградари. Я хотел создать

собственное вино и тайком «пустил тебя под пресс».

Ты знал меня лучше чем кто бы то ни было, но умер, так и оставшись в неведении о кое-каких не слишком красящих меня поступках. В семь лет, прежде чем «досрочно» осиротеть, я от тебя отрекся. Перед одноклассниками, учителями и кюре. Гримасничающий инвалид на костылях, упрямо ведущий свой «форд-таунус» со скоростью тридцать километров в час под возмущенное гудение других машин, был не самым импозантным из отцов. Кроме того, ты не придавал никакого значения своему благородному происхождению и придумал себе сокращенное имя «Ванко», в то время, как среди твоих бельгийских родственников, с которыми ты не поддерживал никаких отношений, за девять-то веков набралось немало графов и баронов.

Пока мои ровесники строили домики на деревьях, я изучал наше генеалогическое древо, увешанное епископами-миссионерами, министрами, бургомистрами и монашками, которых съели африканские каннибалы. Не древо — мечта! Моя фламандская родословная совершенно вскружила мне голову, и я сразу понял: ты не соответствуешь. Я метил выше.

Впрочем, прежде чем отречься, я дал тебе шанс, напечатав в «Монопри» — без твоего ведома — фальшивые визитки (*граф Р. ван Ковеларт, международный адвокат, чрезвычайный посол Бельгии при Международном Гаагском трибунале*) и, подделывая твой почерк, писал новогодние поздравления моему учителю, нашему кюре и родителям одноклассников. Но все эти псевдотитулы совсем тебе не подходили. Я выдумал аристократа с атташе-кейсом, а меня забирал из школы измученный болью фигляр, травивший анекдоты из репертуара ученика цирюльника.

— А он шутник, твой папаша, — замечали мои дружки.

Я ненавидел их снисходительный тон. Я так старался ради тебя, но ты был не достоин легенды. В конце концов однажды на перемене, прямо в школьном дворе я открыл своим приятелям под страшным секретом, что ты мне не родной отец и что я, на самом деле, внебрачный сын короля Бодуэна: сразу после рождения бельгийский адвокат Рене ван Ковеларт увез меня в Ниццу, чтобы защитить от убийственной ревности королевы Фабиолы.

Для пущей достоверности я предъявил письмо на бланке Лекенского дворца с королевской печатью, в котором шеф протокола благодарит ветеринара — члена нашей семьи, — за то, что тот вылечил его пса. Письмо произвело фурор, поскольку никто в школе не понимал по-фламандски. Я почерпнул обрывки

языка предков из франко-голландского карманного словаря «Ларусс» 1935 года издания, который раскопал в магазине уцененных товаров, и подтверждал знание голландского, используя «обиходные выражения» типа *«Извозчик, на вокзал!»* или *«Я хочу отослать письмо пневматической почтой».* Это письмо я выдал за «Королевский указ», в котором якобы говорилось, что я передаюсь на попечение графа ван Ковеларта, дабы он защищал королевского бастарда и воспитывал его как родного сына, вдали от Бельгии.

Перед скептиками, находившими мою историю слишком похожей на приключенческий фильм, я инстинктивно разыгрывал печального фаталиста: да ладно, знаю, я никогда не стану королем, и это очень плохо для Бельгии, ведь у Бодуэна нет других детей, и королевство в конце концов станет республикой, как Франция, а виновата во всем Фабиола. Она была в ярости из-за измены мужа и, когда шпионы доложили ей о моем рождении, отправила в родильный дом наемных убийц, чтобы те уничтожили всех младенцев, появившихся на свет 29 июля. Как вы понимаете, я поведал одноклассникам подправленную версию истории избиения младенцев — мы изучали Библию на уроках катехизиса.

— Так кто же твоя настоящая мать? — Этот вопрос задал мой закадычный дружок Оливье Плон. Он был отличником и делал за меня математику, а я писал за него сочинения. Оливье Плон — вымышленное имя, поскольку мой друг теперь знаменитый психоаналитик и печатается в женских журналах.

На мгновение я растерялся, но быстро спохватился и нарочито возмутился:

— Ты же ее прекрасно знаешь, дурак ты эдакий!

— И она любовница короля Бельгии?

— Вот именно.

— Значит, он — не твой отец, а она — не его жена?

— Его, его. Ему пришлось на ней жениться, для отвода глаз. Но сам же видишь, она слишком красива для него.

Лицо будущего психоаналитика прояснилось. Все мои подлые придумки звучали вполне правдоподобно: ты был на семнадцать лет старше жены, а она с длинными, потрясающе красивыми волосами напоминала Джоан Кроуфорд в фильме «Женщина часто изменчива». Сын банкира толстяк Тозелли сокрушенно заключил:

— Значит, твой как бы отец — рогоносец.

Тут я вышел из роли, смерил отпрыска «Креди агриколь» высокомерным взглядом и сухо бросил:

— Граф — герой. Когда он согласился выполнить поручение

короля, наемный убийца Фабиолы прострелил ему ногу. Сами видите, к каким последствиям это привело.

Мои приятели понимающе закивали. В один миг их отношение к тебе совершенно переменилось. Они взирали на тебя с молчаливым почтением, восхищались тобой, сочувствовали и жалели. И уж, само собой разумеется, не осмеливались смеяться над твоими шутками, и ты злился.

— Какие-то они зажатые, твои друзья. Я бы на твоем месте нашел других. Во всяком случае, этого Плона я больше в нашем доме видеть не желаю. Мне он совсем не нравится.

Тебе не нравились все те, кто вертелся вокруг твоей жены, даже если при этом они учились в начальной школе. А Оливье Плон бросал на нее пламенные взоры и норовил заглянуть в декольте, когда целовал руку, воображая себя бельгийским монархом, чем безмерно тебя раздражал. Слава Богу, ты и предположить не мог, что вдохновляет его фантазии. Ты так и не узнал, что я придумал себе другого отца, заменил тебя правителем страны твоих предков, чтобы исполнить в школе роль Его Внебрачного Высочества принца Дидье.

Один-единственный раз я хотел признаться тебе в совершенной низости. И сделал это по-своему, не напрямик. Мне было двенадцать, мы катались на надувной лодке по савойскому озеру, а когда причаливали к берегу, я засадил в пятку здоровенную занозу. За несколько минут моя нога раздулась в три раза. Не медля ни минуты, ты доставил меня в больницу, и врач, опасаясь заражения, принялся за дело, не дожидаясь, пока подействует анестезия. Я вопил от боли, сжав зубы. Ты стоял рядом, положив мне руку на лоб, и рассказывал мне смешной эпизод из «Приключений Энрике Сарага и Леона Рабишу», твоей саги в стиле Пьера Дака, под которую я засыпал каждый вечер, вдоволь нахохотавшись.

Впервые в жизни я всем телом ощутил то, о чем так часто думал, слушая твои импровизации: смех всегда побеждает боль. И если смеяться вместе, тебе нипочем никакие страдания — это раз и навсегда определило мой литературный стиль. Кромсавшему меня врачу наше веселье не слишком понравилось:

— Немедленно прекратите его смешить! Он трясется и мешает мне.

Ты покорно прервал рассказ о злоключениях шпиона Рабишу, искавшего микрофильм в зловонной выгребной яме, сжал мою руку и просто сказал:

— Я тебя люблю.

Я страшно распереживался, и нога опять ужасно разболелась.

— Я беру тебя в отцы! — выпалил я.

Ты, естественно, не понял смысла этих слов, просто улыбнулся не очень понятной шутке. Это был отчаянный вопль, он вырвался у меня прямо из души, такого со мной еще не бывало. Я думал, что умру из-за этой проклятой ноги прямо на операционном столе, но боялся не смерти — мной овладело суеверное желание немедленно смыть нанесенное тебе исподтишка оскорбление, восстановить между нами связь, которую я разорвал. Иначе, даже если после смерти меня примут в призраки, нас все равно разлучат навеки, потому что я захотел другого отца. Ты сочинял для меня головокружительные шпионские истории, стараясь попутно внушить важную истину: хорошенько обдумывай свои пожелания, ибо, если секретные службы Господа выполнят их, придется отвечать за последствия.

И я совершил ритуал, чтобы разрушить чары: взял тебя в отцы. Заплатил по счету. Одним махом уничтожил все свое вранье, признал родство с тобой, отказался от незаконных притязаний на бельгийский трон. В тот момент больше ничего не имело значения, лишь твоя рука поверх моей и невидимая неразрывная нить, соединявшая нас назло боли. Я признавал тебя своим отцом, хотя ты и так им был — по воле Природы. Я брал тебя в отцы при свидетеле, словно женился на тебе.

Ты так и не узнал подоплеки той сцены в операционной. Тогда это было ни к чему. Мы были друзьями, наши отношения были наполнены весельем, радостью, сдержанной мужской нежностью, и тебе бы и в голову не пришло, что я из мифоманского тщеславия публично отрекся от тебя, отверг наше кровное родство. Впрочем, покаяться никогда не поздно. Пожалуй, сегодня это пойдет мне на пользу: теперь, после твоей смерти, я снова взял тебя в отцы.

Я много месяцев оттягивал этот момент — не мог заставить себя описать на бумаге нашу с тобой последнюю ночь. Вернуться в физическую реальность того благословенного мгновения — я отдаю себе отчет в том, что говорю! — которое осталось в памяти как порыв, как могущественная сила, как тайна.

Два часа ночи. Твоя палата в больнице Монако с видом на море и княжеский дворец. Наступила моя очередь дежурить у твоей постели. Мама отказалась вернуться домой и спала на узкой низенькой кушетке рядом с твоей койкой. Я сидел с другой стороны, в обитом искусственной кожей ортопедическом кресле, вытянув ноги параллельно твоим, держа твою руку в своей и вслушиваясь в твое дыхание. Морфий погрузил тебя в непроницаемо глубокий сон, и лишь редкие хрипы указывали на то, что воспоминания и мечты вот-вот покинут тебя навсегда.

По словам врачей, ты уже сутки находился в коме. И все же… Читателям известно мое мнение о бессмертии души, и я не стану тратить время, приводя доказательства, в этом нет надобности. Но в конце того долгого дня я заметил, что ты впал в беспокойство, и спел тебе «Призрака» Жоржа Брассенса — самую забавную, самую фривольную и самую прекрасную песенку о смерти из всех, какие знал, и не важно, что не в силах сдержать слезы, я немного фальшивил. На следующий день из Вильнев-Лубе, что в сорока километрах от Монако, позвонила моя давняя приятельница Мари Франс. Она всю жизнь проработала медсестрой, вышла на пенсию, но продолжила свою благородную деятельность, помогая тем, кто ушел в мир иной.

— Твой отец умер сегодня в два часа ночи, так? С ним все в порядке. Он сказал, что песня ему очень понравилась.

— Песня?

— Разве ты не спел ему очень смешную похабную песенку? Он тебя благодарит. Такой веселый, просто прелесть…

Одновременно с Мари Франс, на другом конце света, в теплой лагуне, то же ощущение эйфории уловила Вероника — вы встречались всего раз, и она не знала, что ты при смерти. Она не поняла, почему твой образ возник в ее мыслях, но ощутила твое ликующее присутствие в каждом камне и каждом листочке на каждом из росших на горе деревьев. Видение длилось долго, целый час, но Вероника как истинная адептка картезианского учения не стала его интерпретировать.

Я ничего подобного не удостоился. Ни паранормального откровения, ни послания, ни видения. Единственное необычное на тот момент ощущение носило, на мой взгляд, сугубо человеческий характер.

В ту ночь с 29-го на 30 сентября без четверти два ночи твое дыхание внезапно стало прерывистым. Оно напоминало чихающий стартер автомобиля. Я придвинулся ближе и, терзаясь сомнением, прошептал тебя на ухо, что ты не должен бояться и бороться, если момент настал, не цепляйся за жизнь из любви к нам и не проси судью об отсрочке приговора.

— Что происходит? — сквозь сон спросила мама.

— Ничего, — ответил я. — Спи.

Прости, но в то мгновение я хотел владеть тобой единолично. Как законченный эгоист. Я не мог допустить, чтобы безграничная боль любимой женщины помешала нам сговориться в последний раз. Все последние месяцы она заботилась о тебе, зная, что надежды нет, ее силы были на исходе, но она не позволяла себе ни мгновения передышки и вела себя безупречно. Я знал: то, что другие, чужие назовут избавлением, она воспримет как личное

поражение и горькая утрата обернется для нее потерей себя. Твое дыхание остановилось, пока мама вставала с неудобной кушетки.

И тут произошло нечто невероятное, нечто такое, к чему я совершенно не был готов. В тот момент, когда твоя грудь в последний раз поднялась и опустилась, я почувствовал, как сгусток некой энергии закрутился вокруг меня и проник внутрь. Есть такое выражение: «Принять последний вздох». Я пережил это в буквальном смысле слова. Могучая и спокойная сила вошла в меня и осталась навсегда. Волна ликования превозмогала боль, чувство гармонии и единения было сильнее чувства одиночества и опустошенности из-за твоего ухода.

С того дня я ощущаю внутри себя твои вибрации. Твое отсутствие гнетет и печалит, мне недостает твоего смеха, голоса — но не тебя самого. Ты не исчез.

Я закрыл тебе глаза. Они, конечно же, снова открылись. Я повторял свой жест снова и снова, и он утратил скорбную торжественность. Все было бесполезно: веки оставались приоткрытыми, как заевшие жалюзи. Погасить свет твоих орехово-карих, с яркими белками, глаз не было дано никому.

— Оставь… — прошептала мама.

И я вышел, позволив вам в последний раз побыть наедине, лицом к лицу, глаза в глаза.

Я был как в тумане — глупое выражение, но точное — и потащился на пост, чтобы сообщить сестрам о твоей смерти. Они попытались утешить меня, и в их улыбках было не только участие. При упоминании палаты № 6208 глаза у медиков загорались, губы растягивались в улыбке, а тот, кто не мог сдержать смех, начинал судорожно рыться в ящике или в мусорной корзинке, спина их при этом сотрясалась от смеха. Ты и на пороге смерти продолжал смешить людей. Неделю назад твое прибытие в отделение «интенсивной терапии» произвело настоящий фурор.

Случилось так, что острый токсический шок настиг тебя, когда у сотрудников подстанции «скорой помощи» был обеденный перерыв, твой врач вынужден был немедленно транспортировать тебя на машине спасателей в ближайшую больницу — Медицинский центр имени принцессы Грейс. Времени, чтобы переодеть тебя не было, в результате ты прославился на всю больницу.

Сейчас я все объясню. Рак спровоцировал хроническую анемию, и тебе были прописаны ударные дозы железа. Не обошлось без побочных эффектов, каждая ночь оборачивалась мучением. Сам ты вставать с постели не мог, полуживую от недосыпа маму терзать не хотел и потребовал, чтобы она купила

тебе памперсы. Поскольку твои трусы были слишком узкими, чтобы вкладывать в них еще и памперсы, мама купила тебе комплект эластичных трусов, в них ты мог хоть несколько часов поспать спокойно.

Стиральная машина барахлила, грязное белье оставалось нестиранным, и в тот злосчастный день под рукой оказались только малиновые трусы, украшенные двумя переплетенными розочками из шелка-сырца. Обезумев от твоего плачевного состояния, застигнутая врасплох столь быстрым появлением спасателей, мама даже не подумала о том, чтобы одеть тебя не так… вызывающе.

Тем временем я вернулся с моря после часового заплыва кролем в бухте Вильфранша, где ты, до самого последнего времени, пока были силы, каждое утро нырял с маской и трубкой. Как раз когда мама объясняла мне, что произошло, глядя вслед удаляющейся машине спасателей, она наконец сообразила, возможно, по ассоциации с цветом машины, в каком, прямо скажем, экстравагантном виде ее супруг предстанет перед медиками княжества.

Мы помчались вслед за пожарными по дороге вдоль Нижнего Карниза, но догнать их не смогли. В машине мама перемежала рассказ о токсическом шоке причитаниями, смысл которых дошел до меня не сразу:

— Еще и с розочками! Он такой стыдливый… Боже, никогда себе не прощу, проклятая стиральная машина!

Врачи отделения скорой помощи мгновенно сделали все анализы и обследования. Вид у них был озабоченно-сочувствующий, но они с трудом сдерживали смех. Жителей Монако трудно удивить, но и тут не каждый день увидишь известного адвоката, отца лауреата Гонкуровской премии и ближайшего друга Анри Гафье, знаменитого эксперта по живописи, составившего личную коллекцию князя Ренье, в таком трансвеститском исподнем. Ходят упорные слухи, что один маршал Франции завещал похоронить себя в подвязках. Рене ван Ковеларт, похожий на Лино Вентуру и Спенсера Трейси одновременно, перенес последнее в жизни сканирование в женском белье, которое отлично смотрелось бы на гей-параде.

Бедная мама незаметно следовала за каталкой из кабинета в кабинет, судорожно сжимая лежавшие в сумочке белоснежно-белые трусы, и пыталась улучить момент, чтобы переодеть тебя.

— Я теперь понимаю природу вашей чувствительности, — шепнул мне санитар с тонкими усиками над красиво очерченной верхней губой. — Я осознал, что именно задевает меня в ваших книгах, мне близка ваша интерпретация наших проблем…

— Я не стал его разочаровывать, — сообщил ты час спустя, взбодренный капельницами и почтительной заботой медбрата, потрясенного тем, как естественно и просто ты демонстрируешь свои сексуальные пристрастия. — Читателей нужно беречь, — добавил ты и подмигнул мне.

И мы дружно рассмеялись — в последний раз, а потом появилась заведующая отделением — с результатами обследований и соответствующим выражением лица. Незаметным кивком она отозвала меня в коридор, в дверях я столкнулся с мамой: она прятала за спиной твои трусы и собиралась втихаря снять наконец с тебя нагло рдеющее женское исподнее.

— Не стану вас обманывать, — участливо-печальным тоном сообщила врачиха. — Готовьтесь к худшему.

Я ни о чем не стал спрашивать. За сорок пять лет совместной жизни ты и морально, и физически приучил меня к своим «объявленным» смертям и неожиданным воскрешениям. По части смертей тебе не было равных.

*

Через полгода после того, как тебя не стало, одна художница — вы никогда не встречались — сообщила мне странную новость:

— Думаю, я видела Рене.

Моя приятельница была способным медиумом, и я сразу ей поверил, но удивился ее замешательству и задал идиотский вопрос:

— Папа хорошо выглядел?

— Да, улыбался мне. Я чувствовала, что это твой отец, но…

Мы выдержали паузу, потом я спросил:

— Он с тобой говорил? Просил мне что-нибудь передать?

— Да вроде нет.

— Ты не заметила… ничего особенного?

— В общем-то, нет. Он, правда, был чуточку странный…

— Тебе, вроде, не впервой видеть призраков.

— Не впервой, но не в таком же виде. Не в трусах!

— В трусах?

— Вот именно. Малинового цвета. В малиновых женских трусах. Бред какой-то…

Она смутилась, заметив слезы у меня на глазах, и я поспешил улыбнуться.

— Не понимаю, причем тут трусы, — повторила она.

— Зато я понимаю.

В течение нескольких следующих недель — легенда о

почетном трансвестите адвокатского цеха Ниццы тогда еще не вышла за больничные стены — три медиума (с одним я даже не был знаком) независимо друг от друга сообщили, что видели безмятежно улыбавшееся привидение в малиновых трусах.

Я воспринял это как добрый знак, как подтверждение, что твой дух жив. Сияя от счастья, я сообщил новости безутешной маме. Она покачала головой, поджала губы и произнесла тоном христианского смирения:

— Он весь в этом, твой отец…

По правде говоря, ты никогда с ней не миндальничал. Когда вы познакомились, ты разводился с первой женой, остался без гроша, был жалок, питался одним цикорием, выкуривал шесть пачек «Лаки страйк» в день и гонял ночами по горным дорогам, надеясь, что милосердный Господь столкнет твою машину в пропасть: как истинный христианин покончить с собой ты не мог.

Ей исполнилось двадцать два, она была одной из лучших студенток, кружила головы всем подряд на факультете права и военным морякам, сама платила за учебу, работая у судового поставщика, снабжавшего американские корабли, что стояли на рейде Вильфранша. Они с подругой приехали отдохнуть в Вальберг на каникулах и в ночь на 6 февраля 1954 года отправились потанцевать. В ту же ночь ты колесил без всякой цели, помышляя о самоубийстве, и случайно заехал на этот зимний курорт, где пятью неделями раньше вдребезги разбилась твоя предыдущая жизнь.

Сразу после свадьбы вы с твоим лучшим другом Полем начали ездить с семьями на уик-энд в Вальберг, где снимали смежные апартаменты в большом шале. Все рухнуло 31 декабря. За новогодним столом впервые царила леденящая душу атмосфера. Поль дулся без всякого видимого повода, его жена все сильнее раздражалась, а твоя супруга Клоди упорно молчала. Ты старался растопить лед, из кожи вон лез, как только не изгалялся, но все было напрасно. Ты разозлился, рявкнул, что их кислые рожи тебе осточертели, и вышел прогуляться. Шел снег, небо цвело фейерверками, гудели машины — все встречали Новый год.

Ты снова и снова прокручивал в голове мрачный настрой сотрапезников — уныние, по твоей классификации, было смертным грехом номер один — и наконец докопался до причин своей смутной тревоги, разложил аргументы по полочкам и увидел логику в совпадениях. Если Клоди и Поль распространяют вокруг себя такой холод, значит, они поссорились. А раз их «вторые половинки» ничего про это не знают, следовательно, они любовники.

Ты вернулся в клуб, где они сидели за столом — в китайских шляпах, обвитые серпантином, — и подошел к Полю:

— Я все понял. Ничего не говори, мне нужно поспать. Встретимся в семь утра у Креста Сапе.

И ты отправился спать, не сказав ни слова жене. Она почти сразу прибежала следом и была в полном ужасе. Ты уже принял снотворное.

— Ответь мне на один вопрос и уходи, не мешай спать, — сказал ты, не реагируя на ее слезы. — Сколько это продолжается?

— Это не то, что ты думаешь, Рене…

— Я ничего не думаю: я спрашиваю. Так сколько?

— Ты меня пугаешь…

— Ложись в гостиной и не буди детей. Спокойной ночи.

И ты натянул на голову простыню.

В половине седьмого Клоди встала в дверях, умоляя тебя остаться, клялась все объяснить. Ты оттолкнул ее и вышел из шале. С ней ты объясняться не желал. С обманом жены ты бы еще смирился, но мысль о предательстве лучшего друга была тебе невыносима.

Замерзший Поль ждал у столба, стуча зубами от холода. Занималась заря. Это было в твоем стиле — назначить свидание в семь утра на верхней площадке подъемника, но тебе не нужны были свидетели. Ты вскарабкался по тропинке, встал перед ним, достал пистолет, с которым не расставался и после войны, и объявил:

— Одно из двух. Если это банальный адюльтерчик, я тебя убью. Если любовь — я дам ей развод, и ты на ней женишься. Выбирай.

— Мы любим друг друга, любим! — растрескавшимися на морозе губами просипел Поль, стараясь быть как можно убедительней.

Вы, двое близких друзей, стояли и молчали. Поль в пуховике с капюшоном смотрел тебе в глаза. Ты сжимал посиневшими пальцами рукоять пистолета, сунув правую рукавицу под мышку левой руки, понимал, что Поль тебя не обманывает, и сожалел о таком ответе. Но раз они любят друг друга, тебе придется это принять.

Щадя детей, ты подал на развод, выставив причиной несовместимость характеров, но председателю суда рассказал все, как есть, и тот пообещал свести процедуру к двум месяцам. Моим братьям и сестре ты сказал, что вы с их матерью перестали понимать друг друга, и не стал искать иных оправданий, но так торопился разрушить прежнюю жизнь, что выглядел человеком, жаждущим начать новую. Ущемленная гордость и природное

великодушие подталкивали тебя к самопожертвованию во имя счастья других, но решение уступить место другому мужчине выглядело как бегство из семьи. Ты читал это в глазах детей, резонно полагая, что они встанут на сторону матери и отвернутся от тебя.

В сорок лет ты подвел итог жизни, словно сдал выпускной экзамен. Остался один-одинешенек в целом мире, прослыл ловеласом, забросил работу, считая свою жизнь конченой. Ты хотел одного: заснуть за рулем на пустынной дороге и разом со всем покончить. Через месяц ты встретил мою мать.

6 февраля, в Вальберге, пребывая в состоянии «полного аута», ты влюбился с первого взгляда. Раскаяние и самоуничижение погнали тебя в тот самый ресторан, где на тебя снизошло новогоднее «откровение». Ты потягивал двойной виски и вдруг заметил среди буйных весельчаков высокую фантастически красивую брюнетку. Вид у девушки был осоловевший, потому что она конвейерным методом поглощала крутые яйца. Подобные конкурсы были тогда в большой моде. Брюнетка вышла в финал и опережала соперницу в схватке за главный приз — часы. Стоило вам встретиться взглядами, и ты почувствовал, что оживаешь.

Ухаживание как прирожденный скандалист ты начал с наскоков: ужасно безответственно заниматься столь опасными глупостями, тому, кто подавится крутым яйцом, грозит трахеотомия или смерть! Никто никогда не разговаривал в таком тоне с Поль Гигу. Она продолжила опустошать корзинку, чтобы побить рекорд, а когда хронометр остановили и под аплодисменты присутствующих ей вручили награду и присудили титул «Мисс Пожирательница яиц 1954 года», дала отворот поворот надоеде, который пытался вежливо представиться и угостить ее стаканчиком вина. Провал казался окончательным и бесповоротным, но ты уже решил, что она станет Женщиной твоей жизни, и настаивал, чтобы девушка назвала свое имя. Она снизошла, назвалась и вернулась за столик.

Поль Гигу пришла на вечеринку с подругой Симоной: ты пригласил Симону танцевать, чтобы расспросить о Мисс Пожирательнице и выставить себя галантным, здравомыслящим и по уши влюбленным. Ты вальсировал с таким виртуозным изяществом, что Симона не догадалась о твоем коварстве и уговорила подругу быть полюбезней с прекрасным Зорро, явившимся из вальберганской тьмы. Вообще-то, бедняжка надеялась, что твой выбор пал на нее. Она дала задание Поль прозондировать почву, и недоразумение рассеялось не сразу.

Не сразу, но довольно быстро… Тебе помог случай: в ту самую ночь, когда ты танцевал с девушками, в их квартире

случился пожар из-за короткого замыкания. Это позволило тебе взять их «под крылышко» уже на следующее утро. Тут-то и выяснилось, что опекать ты собирался Поль, а не Симону.

Ты прямо заявил, что хочешь увидеться с ней после возвращения в Ниццу. Она послала тебя к черту. Но твое обаятельное упрямство, печаль в глазах и обезоруживающая ирония произвели нужный эффект, и она в конце концов согласилась с тобой пообедать.

Ты повел ее в «Золотую Козу», этот роскошный ресторан, что на горе, над городком Эз и побережьем Средиземного моря, на самой верхотуре. Тут ты выложил ей все про свою разбитую жизнь: отчаяние, бессонные ночи, мысли о смерти, виски, сигареты, цикорий. А потом — без перехода — сделал предложение, приведя один-единственный довод: любовь с первого взгляда спасла тебе жизнь и вывела на прямую дорогу, с которой ты больше не свернешь. Ты даже не ухаживал за ней, а произносил речь, как в суде. Она поверила, полюбила тебя и приняла без всяких оговорок.

Когда неделю спустя Поль объявила родителям, что намерена выйти замуж за сорокалетнего разведенного мужчину с тремя детьми, достигнутый тобой успех был поставлен под сомнение. Мать, заведовавшая парфюмерным отделом в «Ла Ривьер», расплакалась. Отец, наборщик в газете «Пти Нисуа» (теперь она называется «Нис-Матен»), напомнил, что ее руки просил Жак Медсен, сын и преемник мэра города.

— Не он один, — спокойно ответила Поль, — но я люблю Рене и выйду за него, как только будет оформлен развод.

Мои бабушка и дедушка, неутомимые труженики, люди гордые, но мягкосердечные, ценили счастье дочери выше надежды на восхождение по социальной лестнице. Они с тревожным нетерпением ждали знакомства с необыкновенным человеком без гроша в кармане, сумевшим до того заморочить голову их младшей дочери, что она отказала трем молодым миллионерам. Ты показал себя во всем блеске. Появился с опозданием, был дурно одет, повез их на прогулку в горы, но забыл заправить малолитражку, и всем пришлось толкать ее.

— Ну что же, — с тяжелым вздохом констатировал мой дед, когда они вернулись домой, — он славный малый.

Дед налил себе вина, а бабушка побежала ставить свечку святой Рите, покровительнице безнадежных дел, чтобы та отвратила ее дочь от брака с придурком. Святая Рита решила не вмешиваться: через полгода после встречи в Вальберге мужчина, питавшийся одним цикорием, женился на чемпионке провинции по поеданию крутых яиц.

Первые годы в браке оказались непростыми: денег не хватало, терпения тоже. После развода ты почти сразу снова женился и мгновенно воскрес, а у твоей первой жены Клоди все сложилось совсем не так, как хотелось. Ее возлюбленный так и не решился уйти от жены — развод мог убить его мать. Клоди уехала с детьми в Париж, так что видеться с ними ты мог только на каникулах. Вы с Поль очень хотели завести малыша, но договорились подождать и терпели целых шесть лет, пока твои старшие дети не подросли.

Ожидание Клоди растянулось на двадцать лет, прежде чем мужчина ее мечты, похоронив мать, смог наконец сдержать обещание, данное тебе в 1954 году на горе у подъемника. Они были счастливы, как и вы с мамой, что сняло груз с твоей души: гармония была восстановлена. Ты снова стал общаться с Клоди, познакомил нас, и она мне понравилась: при сводных братьях и сестре я по дипломатическим соображениям называл ее «моя почти мама». Клоди это веселило, чего нельзя сказать о законной обладательнице высокого звания.

В начале восьмидесятых у Клоди обнаружили рак, и ты часто навещал ее в больнице, чтобы отвлечь от печальных мыслей.

— Я тебя отвезу, — каждый раз говорила мама.

Из деликатности или женской солидарности, (разумно предполагая, что твоя первая жена вряд ли захочет показаться второй без волос), мама ждала в машине, но потом могла проявить легкое недовольство:

— Ты сегодня долго…

Так мать журит заигравшуюся с подругой дочку.

У мужа Клоди Поля развилась опухоль мозга, и он бывал неадекватен. Когда Клоди умерла, старшие дети отговорили тебя ехать на кладбище, опасаясь, как бы Поль на тебя не бросился. Ты уступил и передал через них письменные соболезнования. Поль ответил изумительным, прочувствованным письмом. На старости лет вы неожиданно снова подружились, как в детстве.

— А я ведь собирался его пристрелить, — сказал ты мне со слезами на глазах, вернувшись с его похорон.

Моральные принципы не позволяли тебе ясно сформулировать эту мысль, но в глубине души ты всегда понимал: не случись у Клоди романа с Полем, истинная страсть прошла бы мимо. Ты был бы верным мужем и хорошим отцом, как и положено доброму католику. Стал бы, попросту говоря, очередной жертвой обстоятельств.

Вы с Клоди начали встречаться в 1940 году, когда Франция осознала, что вот-вот проиграет войну. Она тебе нравилась, хотя у вас было мало общего, и связывать с ней жизнь ты не собирался,

но вторжение в Финляндию все изменило. Ты с детства был убежден, что умрешь молодым, как твой отец, и не удивился, узнав однажды утром, что приписан к отряду альпийских стрелков, которому предстоит преградить путь советским танкам. Семья Клоди бедствовала, и ты принял решение жениться перед отправкой на фронт, чтобы после твоей гибели ей досталась офицерская пенсия. Иными словами, чтобы от твоей смерти хоть кому-нибудь был прок.

На следующий после свадьбы день ты прибыл в казарму за обмундированием и был ошеломлен, не найдя себя в списках. Твое имя каким-то волшебным образом исчезло из приказа, а в штабе тебе никто ничего объяснить не смог.

— Знаешь, как я отреагировал? — спросил ты однажды, в порыве откровенности. — Не возблагодарил Небо за спасение от неизбежной гибели, а подумал: ну ты и кретин!

Деваться было некуда, и ты постарался сделать счастливой женщину, которую полагал оставить вдовой. Жена родила тебе троих замечательных детей, благодаря которым вы тринадцать лет были счастливы и до самой смерти Клоди относились друг к другу с большим уважением.

В твоем характере удивительным образом сочетались нежность и сила, ты обращал в гармонию все выпадавшие на твою долю испытания и продолжаешь в том же духе, уйдя в мир иной. Ты наверняка радуешься, видя, что Клод, Катрин и Тьерри служат утешением твоей вдове, случается, она видится с ними чаще, чем с единственным родным сыном. Твои старшие дети, когда-то считавшие мою мать разлучницей, теперь воспринимают ее, как оставшуюся с ними частичку тебя.

В тринадцать лет ты убил человека. Именно так ты воспринял свой поступок и так его переживал. Однажды, субботним вечером, ты рассказал мне об этом таким будничным тоном, что от изумления у меня дух перехватило.

Ты читал «Убийства на мессе», мой первый триллер, печатавшийся с продолжением в богословском журнале колледжа. Мама прочла первой и, как обычно, навела критику: слишком много персонажей, слишком много прилагательных и точек с запятой, слишком много крови и сисек. Я и впрямь уделил много внимания соскам героини, розовеющим под платьем в день ее первого причастия, но все описания оставались в рамках приличий, так что даже «церковники» не подвергли меня цензуре. Итак, мама нашла мое произведение многообещающим, но пустым. Мое писательское самолюбие вибрировало от злости всякий раз, когда к ней в руки попадал очередной текст, но в душе я ликовал, что мама третирует меня, как Гастон Галлимар

Сент-Экзюпери: я прочитал об этом в комментированном издании «Маленького принца». Снисходительность окружающих превращает большинство вундеркиндов в дрессированных собачек, я же, благодаря маминым придиркам, ощущал себя проклятым поэтом. Ее оценки отрезвляли и уравновешивали твои неизменные восторги.

Обидчица отправилась за покупками, и мы остались в гостиной одни. Тебя переполняла гордость, ты с вожделением ухватился за маленький ротапринтный журнальчик, где на первой странице стояло наше имя. Я уговорил главного редактора аббата Феликса сделать следующую пометку: «Детективный роман с продолжением Дидье ван Ковеларта. Журнальный вариант. Полностью роман будет напечатан в Париже». Редактор счел необходимым добавить «5-й класс А», дабы определить мое место в системе Национального образования, и написал частицу «ван» с большой буквы, но всем остальным я остался доволен. Ты смеялся, был возбужден и растроган этой мрачной историей, а я был на верху блаженства. Начинался роман с убийства святоши, которую отравили облаткой, а заканчивался фразой «*Продолжение следует*» на самом интересном месте, в тот момент, когда кюре переворачивает страницу пропитанного цианидом требника, облизывает палец и умирает в страшных судорогах.

— Мы можем обвинить его в плагиате, — сказал ты десять лет спустя, когда Умберто Эко выпустил роман «Имя розы», описав точно такое же преступление.

В суд подавать мы не стали: вероятность того, что итальянский прозаик читал наш «Жалон»,[5] была, прямо скажем, невелика.

Итак, в тот осенний день 1973 года я вдруг увидел, что твои глаза наполнились слезами, решил, что это от восхищения изысканностью моего литературного стиля, который не оценила мама и возгордился. Но я ошибся. Ты опустил журнал на колени и сказал:

— Ты все это сочинил… А я в твоем возрасте именно так и поступил.

Выяснилось, что речь идет об эпизоде, когда мальчик из хора угрожает пистолетом грабителю, укравшему деньги из кружки для пожертвований.

И ты открыл мне свою самую большую тайну, трагедию, которую пережил в одиночку. Сегодня, по прошествии времени, я понимаю, что мучило тебя сильнее всего: ты ни в чем не раскаивался.

Про твое детство я, кажется, знал все. Твой отец Эжен,

талантливый изобретатель и промышленник, разработал метод производства огнеупорных кирпичей и погиб через три месяца после твоего рождения — остался лежать в траншее на одном из пресловутых «полей славы». Твоя мать Сюзанна провела семь ужасных лет в монастырской школе, в шестнадцать с половиной вышла замуж за друга детства и овдовела в девятнадцать. Твоя бабушка Гортензия возглавляла подпольную ячейку и сразу узнала о смерти зятя, но скрывала это до перемирия 1918 года: она сочиняла хорошие известия, писала письма дочери от имени Эжена, чтобы оттянуть развязку, позволяя ей сохранять надежду до самого конца войны. У тебя обнаружили рахит в тяжелой форме, и твоя вдовая бабушка Гортензия в один день продала свое дело в Рубе и увезла тебя выздоравливать в солнечную Ниццу. Твое детство прошло между двумя отшельницами — благородной тираншей и окаменевшей от печали по утраченной любви и так и не повзрослевшей девочкой-подростком.

Я знал, что, уезжая на юг, Гортензия все потеряла и поправить финансовое положение могла только обещанная Сюзанне компенсация за военные убытки. Бомбардировки сравняли с землей завод твоего отца во Френ-сюр-Эско (в то время крупнейший во Франции), и вам должны были возместить ущерб. Вы жили в маленькой квартирке на улице Бюффа, и ты с восьми лет был главным кормильцем — мастерил миниатюрные машинки и продавал их в школе.

Дети и взрослые с ума по ним сходили: в то время только у твоих автомобильчиков с наступлением темноты зажигались фары. Ты ловил светлячков, соскребал перочинным ножом фосфор с крыльев на стеклышки, после чего отпускал страдальцев, а стеклышки прикреплял над решеткой радиатора. Фирма «Рене Мобиль», позже переименованная в «Ковеларт-Тойз» ради проникновения на американский рынок, кое-как поддерживала семью на плаву, а ведь могла принести тебе солидный капитал, получи ты товарный знак. Итак, Сюзанна с нетерпением ждала выплат, чтобы купить патент. Твой отец в восемнадцать лет изобрел огнеупорные кирпичи — чудо XX века; ты стал всемирно известным изобретателем фар для игрушечных машинок в тринадцать; вполне понятно, почему в семь с половиной я мечтал подхватить эстафету и стать самым молодым писателем в мире.

Я знал о твоем нелегком детстве, о честолюбивых мечтах, о производстве автомобильчиков на семейной кухне, вот, пожалуй, и все. Дело о выплате военной компенсации продвигалось туго. Сюзанна ничего не говорила ни властной матери, ни талантливому сыну, но от ее парижского нотариуса приходили

тревожные вести.

На призыв в армию и реальную опасность погибнуть на фронте Эжен отреагировал, проявив благородство, как и ты двадцать шесть лет спустя. Он позаботился о своем единственном брате, бездельнике и заядлом игроке: чтобы тот ни в чем не нуждался, Эжен поделился с ним акциями и назначил на какую-то должность, более или менее фиктивную, но обеспечивающую ему приличную зарплату. Уверенный, что его жена никогда ни в чем не будет нуждаться, поскольку спрос на огнеупорные кирпичи в Европе неуклонно рос, и не подозревая, как, впрочем, и Сюзанна, что она уже носит тебя под сердцем, будущий отец со спокойной душой отправился на убой.

Война закончилась, прошло тринадцать лет, завод лежал в руинах, а ущерб так и не был возмещен из-за вмешательства твоего дяди, который заявил о своих претензиях на эти деньги. Когда однажды ты вернулся из школы, бабушка сообщила тебе, что Сюзанна срочно выехала в Париж.

— Я должна поговорить с нотариусом, — вот все, что она ей сказала.

Прошло три дня, от нее не было никаких вестей. Ты позвонил нотариусу — другу семьи, не раз державшему тебя на коленях. Очень удивленный, он сказал тебе, что не виделся с Сюзанной. Тот же ответ ты получил от ее кузины Гайде, она жила на Монмартре, в Париже мать всегда останавливалась у нее.

Забеспокоившись, ты бросился на вокзал узнавать, не было ли в эти дни аварий на железной дороге. Служащий все проверил, успокоил тебя и, записав приметы Сюзанны, послал запрос.

На следующий день ты узнал, что подходящая под описание молодая женщина была задержана двумя контролерами в Савиньи-сюр-Орж после того, как в припадке безумия разорвала на себе одежду и уничтожила удостоверение личности. В Париже ее сдали в полицию. Больше ничего выяснить не удалось.

Ты скрыл все это от Гортензии, потому что сильное волнение всегда имело для нее катастрофические последствия, сказал только, что должен подписать какие-то бумаги. Начальник вокзала и отзывчивый комиссар полиции помогли тебе отыскать мать: она оказалась в больнице Сальпетриер, в общей палате, среди вопящих, привязанных к прутьям кроватей психов.

Сюзанна кричала вместе со всеми, но, увидев тебя, мгновенно успокоилась.

— Ах, Рене, как славно, что ты здесь! Как будешь уходить, берегись деревьев! Платаны воюют с каштанами, и ты попадешь между двух огней. Берегись веток, дорогой!

Произнеся это странное предостережение, она присоединила

свой голос к общему хору. Ты смотрел на нее, совершенно потрясенный, и главный врач увел тебя в свой кабинет. То, что произошло, сказал он, это просто замечательно, он на такое и не надеялся. Ты задыхался от слез и ничего не мог понять: твоя мать потеряла рассудок, а мужчина в белом халате потирает руки, радуется и подносит тебе стакан воды.

— Она вас узнала, молодой человек! Вы не понимаете: четыре дня полного безумия и амнезии, наше лечение не помогало, мы потеряли надежду. Оказывается, все не так плохо. Приходите сюда каждый день, в одно и то же время, сначала на две минуты, потом на три, на пять… Пусть ждет свиданий, и она вернется в реальный мир. Все будет хорошо: глядя на вас, память ее начнет восстанавливаться, и она придет в себя.

Ты поселился на Монмартре, у кузины Гайде, ездил автобусом в Сальпетриер и каждый день все дольше сидел у постели матери, а она все чаще разбавляла рассказ о войне растений в больничном парке мелкими деталями из жизни вашей семьи в Ницце. Спрашивала тебя, сколько будет шестью двенадцать, кто написал «Спящую красавицу», что ела на обед Гортензия и как дела с твоими светящимися машинками.

Ты не давил на нее, и однажды, как и обещал врач, она вспомнила — все, кроме происшествия на вокзале в Савиньи. Рассказала, почему так внезапно уехала и каким ударом стало пришедшее из Парижа письмо.

Когда она умолкла, ты поцеловал ее в лоб и пообещал:

— Я этим займусь.

Ты снова отправился на Монмартр, но к кузине не вернулся, а зашел в популярный бар на площади Пигаль, где было полно головорезов в лихо заломленных набок кепках и шлюх, умилившихся при виде юного провинциала. Ты выложил на стойку свои карманные деньги — месячную выручку за «ренемобили» — и сказал, что хочешь купить пистолет. Патрон прикрыл купюры блюдечком, сделал знак одному из подручных и провел тебя в подсобку.

Через несколько минут ты вышел — без денег, но с пистолетом среднего калибра в кармане — и отправился прямиком к дому господина Б., вашего семейного нотариуса. Дверь открыла его жена и с искренним волнением воскликнула: «Мама нашлась?»

— Мне нужно видеть Этьена.

Ты сказал это таким мрачным тоном, что она тут же предположила худшее и немедленно провела тебя в кабинет мужа. Нотариус оторвался от дел и воскликнул, сама любезность:

— Рене, малыш, как ты вырос! Есть новости от Сюзанны?

Ты закрыл за собой дверь, повернул ключ в замке и повернулся к нему. Да, новости имелись. По его вине твоя мать сошла с ума, и ты пришел его убить. Перепуганный нотариус вжался в кресло, а ты достал пистолет и прицелился ему в сердце.

— Подожди, Рене, это недоразумение!

Нарочито спокойно, приблизительно так, как рассказывал это мне, ты заверил его, что никакого недоразумения быть не может и тебе все известно. И слово в слово процитировал письмо, в котором он предлагал Сюзанне подписать отказ от компенсации за военные убытки. Брат отца официально признан компаньоном — немыслимое решение, если только противоборствующие стороны не договорились за спиной твоей матери. Ты знал наизусть все детали дела. Ты ночами изучал бумаги, лишавшие твою мать покоя, и понял, в чем твое призвание — стать защитником вдов и сирот и начать с вас самих. Ты мог доказать, что нотариус утаил некоторые документы, подтверждавшие волю твоего отца: Сюзанна была единственная законная наследница. Ты мог доказать, что господин Этьен Б. предал твою мать. И теперь он умрет.

Ты спустил курок. Нотариус взвыл и схватился за сердце обеими руками. Но выстрел не прогремел. Ты жал на курок, пока друг семьи не повалился на ковер: от страха он лишился чувств. Ни одна пуля не вылетела из пистолета, хотя продавец зарядил его у тебя на глазах. Кабатчик с Монмартра был канальей, но проявил человеколюбие и спас от тюрьмы отчаянного парнишку, продав за немыслимую цену незаряженный пистолет. Такое объяснение подсказали тебе твой проницательный ум и оптимистичный взгляд на мир, не покидавшие тебя до последнего вздоха.

— Боже, Рене, что происходит? — кричала Раймонда Б., барабаня кулаками в дверь.

— Спроси у него, — ответил ты, выходя из комнаты.

Она бросилась к распростертому на полу мужу, а ты ушел, чувствуя, себя мстителем и убийцей. Став адвокатом, ты не раз говорил присяжным, что человек не есть сумма поступков и действий, потому что с тринадцати лет свято верил: мы несем ответственность за свои действия в куда большей степени, чем за их последствия.

*

Нотариус не только не подал жалобу, но и никому не рассказал о случившемся. Он поспешил передать дело коллеге, и

много лет спустя оно решилось в нашу пользу.

Твое виртуальное преступление осталось тайной. Никаких последствий, кроме душевных терзаний, оно для тебя не имело, но через десять лет судьба-искусительница подкинула еще один шанс поквитаться. Ты был молодым, начинающим адвокатом, и к тебе обратилась та самая женщина, которую ты едва не сделал вдовой.

Они как обычно приехали с мужем отдыхать в Ниццу, и мадам срочно потребовалась твоя помощь. Ты принял ее с учтивой холодностью. Госпожа Б. разрыдалась у тебя на груди, призналась, что ее брак был сущим адом, она чувствовала себя несчастной, стала клептоманкой, и ее поймали с поличным в «Галери Лафайет». Магазин подал иск, и муж убьет ее, если узнает, а потом покончит с собой. Он болезненно щепетилен в вопросах чести, добавила она, видимо, забыв, с кем говорит.

Ты смотрел на плачущую женщину и размышлял. Жизнь мерзавца, предавшего твою мать, снова оказалась в твоих руках. Ты взял дело, добился оправдания клептоманки, и нотариус ничего не узнал.

Ты заключил свой рассказ поэтичной и простой фразой, которую я помню с тринадцати лет:

— Месть — блюдо, которое подают холодным. Я его разогрел, но есть не стал.

Я пишу эту книгу безо всякого плана — просто вспоминаю, что чувствовал, как будто облегчая твою совесть и обременяя свою. Пожалуй, мне это нравится. Надеюсь, тебе тоже.

В 1982 году я впервые подписывал книги в одном из магазинов Ниццы, и ты пришел поддержать меня, но, как ни старался привлечь внимание покупателей, автограф попросила всего одна женщина. Она долго изучала мою дарственную надпись, потом, нимало не смущаясь, поставила мне диагноз:

— Извращенная мифомания шизофренического свойства и неосознанное стремление к насилию на почве эдипова комплекса.

— Я его отец! — твоя реакция была мгновенной, в голосе прозвучали гордость и предостережение.

Она взглянула на тебя с опаской и улыбнулась — вежливо, как безнадежно больному.

— Что ж… На его счастье, он писатель, — сказала она и ушла, не заплатив. Ты отдал деньги в кассу, ругая наглых шарлатанов, что избавило нас от необходимости комментировать диагноз. Возможно, дама-графолог была не так уж неправа. Если в детстве я и не стрелял в друга семьи, то только потому что «расстреливал» все патроны на бумаге, что, впрочем, не мешало мне много раз хладнокровно и сознательно уничтожать собственных родителей.

Я был гнусным мальчишкой со смазливой мордашкой, но комплекс у меня был не Эдипа, а Ариадны. Как объяснит мне впоследствии доктор Плон, я не мог удержаться, рвал нить, чтобы стянуть ее покрепче узлами фантазии. Плону, конечно, виднее. Во всяком случае пуповину я перерезал собственноручно.

Я уже рассказал, как в семь лет, в тайне от тебя, по генеалогическим соображениям придумал себе другого отца. Год спустя наступил мамин черед. Правда, от нее я не отрекся, а подменил. Кто-то объяснит мои поступки психологическими проблемами, но в действительности, все дело было в ее прическе.

У графини Поль, как я называл ее за глаза в разговорах с друзьями, были очень длинные и дивно красивые волосы, делавшие ее похожей на Джоан Кроуфорд. В один прекрасный день она вдруг взяла и, ни с кем не посоветовавшись, подстригла их: то ли в стремлении к независимости, то ли ради смены образа, а может, просто назло всем. Утром я расстался с Джоан Кроуфорд, а вернувшись из школы, застал дома Арлетт Лагийе.[6] Это был чудовищный удар. С «ежиком» на голове мама лишилась всей своей таинственности и элегантности, перестала быть

роковой женщиной: властная аристократка превратилась в самую обычную женщину. Она больше не была достойна ни меня, ни тебя, она вообще утратила достоинство.

На следующее утро в школе я с ней поквитался.

— Видели мою мать?

Друзья кивнули. Мама привезла меня на машине, и я наврал ей, что спустило заднее колесо, чтобы она вышла и выставила на всеобщее обозрение свою уродскую башку. Возник затор, водители возмущенно гудели, и она обозвала меня идиотом, ведь колесо и не думало спускать.

— Ничего не заметили?

— Вообще-то… да. Прическа другая.

— Не только. Вы посмотрите на нее повнимательней, послушайте, как она говорит… Похожа на себя?

— Вроде… нет.

— Правильно! Потому что она — это не она.

— Как так?

— Они ее похитили. И подсунули мне двойника, а я делаю вид, что ничего не замечаю.

Друзья застыли в полном недоумении. Я думал, меня засыплют вопросами, но первая реакция оказалась совсем иной. Будущий психоаналитик-колумнист женского «глянца» Оливье Плон спросил со знанием дела:

— Мизинец что, не гнется?

В то время был очень популярен телесериал «Захватчики», в котором инопланетяне то и дело похищали и подменяли людей, но против меня интриговал бельгийский двор, а не пришельцы. Я отрицательно покачал головой — к великой досаде Оливье, которому всюду мерещились марсиане.

— Они нашли похожую на маму женщину и здорово ее подготовили. Заставили изучить мою жизнь в подробностях, но она все равно путается.

— А чего они хотят? — ужаснулся толстый коротышка, сын банкира из «Креди агриколь», веривший каждому моему слову.

— Понятия не имею. Что делать — ума не приложу.

Я расписался в беспомощности, чем почти заставил друзей поверить в трагизм ситуации, возбудил их воображение: каждый по-своему объяснял неожиданно обретший реальность киношный трюк.

— Выберут самый неожиданный момент и укокошат тебя, — высказался Оливье Плон.

— Ты преувеличиваешь, — сдержанно возразил я, в восторге от своей выдумки.

— Значит, они за тобой шпионят, — подытожил тощий

верзила, которого мы прозвали Авереллом.[7]

— А куда же дели настоящую? — вскинулся Оливье Плон.

— Ликвидировали, — брякнул Аверелл (теперь он жандарм во Франш-Конте).

Я заверил его, что никто маму не убивал, ее где-то держат взаперти, чтобы в случае чего она могла прийти на помощь дублерше. Аверелл явно не поверил, но возражать пока не стал.

— А твой отец, он что, ничего не заметил?

Я повернулся к Ги де Блегору, наследнику похоронной конторы «Инар, Жилетта и Г. де Блегор». Он тоже был из аристократической семьи, но специфика семейного бизнеса ослабляла его позиции. Я провозглашал себя дворянином шпаги и мантии и не собирался уступать дворянину от катафалка. «Формалиновый» Блегор завидовал моей голубой крови и выступал главным скептиком.

— Конечно, заметил, он же не слепой! — фыркнул я. — Прекрасно понял, что это совсем другая женщина. А что прикажите ему делать? Мы решили притворяться, так у нас будет преимущество.

Оливье Плон задумчиво почесал затылок. Он принял за чистую монету мою байку о том, что мама — фаворитка короля Бельгии, предавался на ее счет фантазиям и теперь не знал, на что решиться — то ли горевать, то ли рискнуть и попытаться убедить самозванку в том, что у них были *отношения*.

Недавно он сам мне в этом признался, когда позвонил выразить соболезнования, прочтя некролог в «Нис-Матен».

— Полная фигня! — отрезал Ги де Блегор. — Живую женщину так запросто подменить невозможно.

— Да ты-то откуда знаешь? — вспылил верный Тозелли, жаждавший посрамить моих недругов.

— Он всю дорогу лапшу нам на уши вешает.

— Заткнись, дурак! Ясно же, она — не его мать!

— Кому ясно, а кому и нет.

— Если не верите, приходите и посмотрите на нее, — примирительным тоном сказал я, приглашая их застигнуть вражескую лазутчицу врасплох.

— Заметано, — поспешил согласиться Оливье Плон.

Отряд явился на разведку к полднику. Я редко приводил домой одноклассников — наш быт мало соответствовал моим выдумкам. Когда они с удивлением спрашивали, почему мы так небогато живем, почему мой отец ездит на «форде», а не на «роллс-ройсе», я отвечал: «из скромности», поскольку другого аргумента не находил.

Моя якобы «псевдомама» удивилась и не слишком

обрадовалась, что мы явились впятером.

— Мог бы меня предупредить…

— Прости, мать.

— Ладно, — вздохнула она, — пить хотите? Что вам дать?

Мои приятели с почтительной опаской высказали свои пожелания, мама открыла холодильник, а я спросил, понизив голос:

— Слышали? Она терпеть не может, когда я называю ее «мать», а тут даже не отреагировала.

— Это ничего не доказывает, — буркнул наследник похоронной конторы.

— Вообще-то, она и правда какая-то не такая, — шепнул Оливье Плон. — Я ей всегда нравился, а сегодня даже не посмотрела в мою сторону.

Я беспомощно развел руки, соглашаясь с таким верным замечанием. На самом же деле, мамино отвратительное настроение объяснялось тем, что тебе, как и мне, не понравилась ее новая прическа, о чем ты не преминул ей сообщить; она была сама не своя, но сейчас это было мне на руку.

— У нее другие духи, — вполголоса заметил Тозелли, принюхиваясь к давившей лимон маме.

— И глаза не похожи, — вставил Эверелл.

— И она никогда не добавляла в оранжад лимон, — многозначительным тоном «своего человека в доме» добавил Оливье Плон. Я удовлетворенно наблюдал, как, заглотив наживку, они теперь работают на меня. Они вели себя так странно, что мама тоже стала напрягаться, от чего моя выдумка выглядела еще правдоподобней.

— Что случилось, почему вы так на меня смотрите?

— Все в порядке, мадам, все в порядке.

— Ладно. Уберите за собой, а я пойду поработаю.

— Не беспокойся, мать, — сказал я, бросая выразительный взгляд на приятелей, пусть еще раз увидят, что она не реагирует на слово мать.

Теперь я понимаю, что еще, помимо эстетического разочарования, заставило меня выставить обманщицей мою стриженую маму. В то время она руководила цветоводческим хозяйством и умела построить всех своих подчиненных. Они ею восхищались, но побаивались, иногда мне казалось, что она и со мной обращается, как с ними. Думаю, я хотел побить маму ее же оружием, как поступал с тобой, пуская в ход унаследованное от тебя воображение. При маме мне хотелось чувствовать себя главарем шайки, и я управлял дружками-разбойниками, беззастенчиво им заливая. Мама всегда была так уверена в себе,

что «достать» ее я мог, только выставив самозванкой.

Наверно каким-то образом я еще мстил вам за ваши бурные ссоры, которые слышал через стену моей комнаты. Причины их были всегда одни и те же: она стремилась к большей свободе, ты впадал в депрессию. Стоило маме упрекнуть тебя за расхлябанность, и ты взвивался под потолок и делал вывод, что она тебя разлюбила. Мама шла на попятную, чтобы успокоить тебя и привести в чувство, но потом жалела, что проявила слабость, потому что ты был не прав, а выходил победителем. Сценарий не менялся. Вы пятьдесят лет прожили в любви и согласии, и тем невыносимей были для меня эти хоть и редкие, но бурные всплески эмоций. Вы сами приучили меня к гармонии — и я жаждал гармонии. Когда она нарушалась, отравляя жизнь, меня спасало воображение. Я «подчищал» реальность. В рукописи можно замазать слово и даже строчку; когда вы менялись до неузнаваемости, я вас «замазывал». И придумывал заново.

Моя мать даже не догадывалась о моем наглом обмане и узнает обо всем, читая эти строки. Я прошу у нее прощения, но поступил так ради ее же блага. Я хотел восхищаться ею и любить ее, даже если она менялась до неузнаваемости. Мама понятия не имела о моем свинстве, но я чувствовал, что виноват и переставал злиться.

— Сходил бы ты к психоаналитику, — посоветовал Оливье Плон, прочитав в 1993 году мой роман «*Шейенн*», где я разоблачал кое-какие детские мистификации.

Увы и ах! По трем причинам я не гожусь для бесед на кушетке: во-первых, я очень хорошо себя знаю, во-вторых, больше интересуюсь другими, и, в-третьих, мои психологические проблемы питают творческое воображение, и я ни за какие коврижки не позволю промывать себе мозги, да еще и за мои же деньги!

В тот день будущий знаток женских душ облегченно вздохнул, стоило бледному подобию моей матери покинуть кухню.

— Могли засыпаться! — воскликнул он. — Чуть было не догадалась, что мы ее разоблачили!

Я позволил себе упрекнуть их в легкомыслии: если шпионка что-то заподозрит, неприятности будут у меня, а не у них! Могли бы вести себя поосторожней, она все же профессионалка и занервничала, а это плохой знак.

— Да мало ли что… — ворчал Ги де Блегор, хотя спеси у него поубавилось. — Моя мама тоже иногда бывает сама не своя.

— Это из-за месячных, — объяснил Оливье Плон. — У моей такое каждый месяц случается. Но эта тетка — не Поль, а

двойник. Вообще не похожа.

— Точно, — согласился Тозелли, намазывая маслом третий гренок. — Могли бы найти кого получше.

— Или купить ей парик, — вставил Аверелл.

— Они не успели, — я решил проявить великодушие, заступившись за врагов.

— Ну конечно, — хмыкнул Блегор. — Королева Бабиола проснулась поутру, подумала: «Нужно быстренько подменить ему мать» — и схватила первую же тетку, что подвернулась.

— *Фабиола*, — сухо поправил Тозелли.

— Блегор прав, — признал я, чтобы нейтрализовать противника.

— Но почему именно сегодня? — поторопился спросить Тозелли, который не мог допустить, чтобы я уступал хоть в чем-то не блещущему умом гробовщику. — Случилось что-то особенное?

Я обожал этого парня за его истовую веру в меня, за преданность мечте, окрылявшую меня. Тозелли умер от передозировки в двадцать лет.

— Ладно, пошли, — сказал я строго. — Поговорим в другом месте.

Тозелли закусил губу, ужаснувшись мысли, что в нашей кухне могут быть «жучки».

На улице я открыл друзьям «страшную тайну»: Фабиола действовала в спешном порядке, поскольку Объединенные Нации начали секретные переговоры с целью посадить меня на бельгийский трон, когда я подрасту. Они боялись, что Бодуэн I умрет, не оставив наследника, и тогда произойдет революция — как в России.

— Как это — Объединенные Нации? — поинтересовался Аверелл.

— Это когда все страны мира собираются вместе и решают, где будет война, — объяснил Ги де Блегор и добавил ехидным тоном:

— Да чихать они хотели на твою Бельгию! Страна маленькая, ничего интересного, кроме жареной картошки. Объединенным Нациям и без бельгийцев есть чем заняться.

— Ты так думаешь?

Я многозначительно, с легкой издевкой улыбнулся, демонстрируя полную уверенность в себе и в международной значимости «моего» королевства.

— Докажи ему, — взмолился Тозелли.

— Ладно. Будут вам доказательства — завтра.

*

Тут на сцену выходит ключевой персонаж моего детства, этакий волшебник Мерлин, посланный провидением, чтобы стать невольным соучастником моих выдумок. Из всех взрослых он один затмевал тебя своей статью, воображением и авторитетом, но я на него не злился, а использовал по полной программе.

Одетый с иголочки великан, весивший сто двадцать кило и говоривший с южноамериканским акцентом, синеглазый и седовласый волшебник Мерлин был сыном дона Густаво Герреро, отца-основателя Гаагского трибунала. Две тетушки моей матери работали кухарками в его изумительном поместье «Чиспа», на холмах Ниццы. Они были ровесницами Густаво Герреро-младшего и для краткости называли его между собой Густавито. Когда мы познакомились, ему было семьдесят три: прозвище забавно контрастировало с внушительными габаритами этого заядлого выпивохи (который никогда не пьянел!), его безупречными манерами и редкостной раскованностью. Унаследовав от отца титул посла Сальвадора, внешне он странным образом походил на Питера Устинова, Марлона Брандо и Уинстона Черчилля одновременно.

После смерти родителей и продажи имения Его Превосходительство Густавито взял привычку во время частых наездов на Лазурный берег останавливаться у бывшей прислуги своего отца, что нисколько его не смущало. Сестры вынуждены были тесниться в одной спальне, чтобы устроить «Мсье» со всеми удобствами, а тот пользовался этим без зазрения совести и сибаритствовал, частенько привозя с собой прелестную двадцатипятилетнюю чилийку Росси, которую именовал своим пресс-атташе и которая воспламеняла мои детские сны. Козырной картой нахлебника, осложнявшего жизнь моим двоюродным бабушкам, был его пульмановский шестисотый «мерседес» с дипломатическими номерами — роскошный лимузин, который он в отпуске водил сам.

Густавито очень меня любил и компенсировал великосветскую скупость готовностью быть всем полезным. Я сделал из него своего личного шофера, что позволяло если не вызволить бабушек из рабства, то по крайней мере хоть что-то с него поиметь, а заодно подтвердить мой статус политического беженца: я, как-никак, был наследником престола, которому угрожала смертельная опасность.

Я развалился на рыжем кожаном сиденье «мерседеса», закинул ноги на бар с маркетри, выставил локоть в открытое окно и на подъезде к школе приветствовал одноклассников небрежным взмахом руки. Они приблизились с почтительной опаской, обогнули лимузин, а я вышел и небрежно бросил шоферу:

— До скорого, Густавито.

— Кто это? — хором выдохнули мальчишки, как только машина отъехала.

— Телохранитель, от Объединенных Наций, а что?

— Кончай заливать, — прошипел Ги де Блегор.

— Спросите его сами, если не верите.

Во время большой перемены полкласса выстроились на тротуаре, карауля «мерседес». Пока я залезал на заднее сиденье, Ги де Блегор дерзнул-таки постучать согнутым пальцем по стеклу.

— Извините, мсье, — спросил он, когда стекло опустилось, — вы… кто вы по профессии?

Лучезарная улыбка осветила гладкое розовое лицо семидесятилетнего здоровяка.

— Я представляю мою страну в Организации Объединенных Наций, — низким, с хрипотцой, голосом, ответил он, а потом поинтересовался в своей неподражаемой манере говорить со всеми как с равными: — А ты кем собираешься стать, мой мальчик?

Блегор застыл с открытым ртом. Я ответил за него, испытывая садистское удовольствие:

— Он хочет стать гробовщиком, как его отец.

Дипломат положил руку на плечо Ги, пригнув его к земле сантиметров на десять.

— Браво, дружок, преемственность в жизни — превыше всего, — и рассмеялся своим тихим протяжным смехом, закончив, как обычно — по никому не известной причине — двумя тактами фривольной народной песенки:

— *Чикирикитин, чикирикитан…*

— Домой, Густавито, поехали, — распорядился я, чтобы свернуть разговор.

Этот чудесный человек всегда безошибочно подавал мне реплики, именно ему я обязан почестями, которые с восьми до десяти лет воздавали мне друзья: их не затмили ни Гонкуровская премия, ни служба в армии вместе с певцом Патриком Брюэлем.

*

Иногда в дождливую погоду мы подвозили кого-нибудь из моих приятелей. На заднем сиденье роскошной машины они чувствовали себя властителями мира и на самом деле всерьез считали меня отлученным от власти несчастным бастардом, на которого сделала ставку ООН. Ги де Блегору так польстило внимание посла, что он стал моим ярым сторонником и уже

видел в мечтах гробы с надписью золотыми буквами: «Официальный поставщик королевского двора Бельгии».

Однажды, когда мой «телохранитель» как обычно ждал нас за рулем машины, проглядывая сообщения о скачках в «Нис-Матен», в стекло постучали патрульные мотоциклисты из муниципальной полиции. Родители учеников заметили подозрительно элегантного толстяка, регулярно дожидавшегося окончания уроков, и предупредили власти, что у школы «Магнолии», вполне вероятно, отирается педофил. За три секунды Герреро обратил бдительных агентов в угодливых подхалимов, и они сопроводили нас на своих мотоциклах на другой конец города, к дому Тозелли (он в тот день праздновал день рождения), освобождая дорогу свистками.

Ну и видок был у бдительных родителей.

*

Густаво Герреро-младший закончил карьеру в Риме, посланником при Святом Престоле. Я подрос, но мы иногда встречались, и он каждый раз, даже после отставки, дарил мне медальон, освященный «его большим другом Павлом VI». Мои двоюродные бабки переехали в квартиру поменьше, и Густавито стал проводить большую часть года в Кань-сюр-Мер, рядом с ипподромом, но дела у него шли не блестяще. Сшитые в Лондоне на заказ, идеально отглаженные костюмы-тройки поизносились и были кое-где заштопаны. Мерседес испарился. Густаво привозил к нам обедать рыбака из Кро-де-Кань. Этот верный и восторженный «друг Люлю» возил его повсюду на своей маленькой «симке-1000», куда сальвадорец едва помещался, был бесконечно предан Густаво и с любовью называл его «Ваше Превосходительство». Дипломат убеждал приятеля обращаться к нему на «ты», и тот иногда за рюмкой ликера позволял себе фамильярности, но только в разговоре со мной:

— Мы вчера с Твоим Превосходительством ловили морских ежей.

Густавито остался у меня в памяти старым, чуточку усталым великаном с гладкой, как у младенца, кожей, который выпивал три рюмки Рикара, две бутылки бургундского, куантро, а потом, практически безо всяких усилий, залезал в машину, а та словно бы раскрывала ему навстречу свои объятия. Он опускал стекло, ставил локоть в альпаковом пиджаке на бортик и приветствовал меня, как английская королева, желая много-много разнообразной и возвышенной любви, *чикирикитин, чикирикитан*.

Некоторое время спустя он умер, оставив безутешной семью рыбаков из Кро-де-Кань и разбив сердце Аннонсиасьон (урожденной итальянки Аннунчаты, уменьшительно — Нунчатины или, совсем коротко, Титины), младшей из моих двоюродных бабушек, с юности безнадежно в него влюбленной и потому не вышедшей замуж. Устав от излишней чувствительности сей трепетной девы, говорившей со своим избранником исключительно в третьем лице, ее старшая сестра Маргарита (офранцуженная Марго), тридцать лет царствовавшая на кухне семейства Герреро, одной короткой фразой остановила поток слез:

— Ну что ты заладила — «бедный мсье, бедный мсье»?! Пить всю жизнь, как он пил, и дожить до восьмидесяти лет не каждый сумеет.

Помолчав, она добавила гениальную фразу:

— Грех ему жаловаться.

Тощая вдова Марго и крупногабаритная девица Титина составляли уморительно смешной и трогательный дуэт в стиле Лорела и Харди.[8] Первая никогда не училась в школе, но обладала врожденным чувством юмора и была одной из самых умных женщин, которых я встречал в жизни. Роман с Панайотисом (которого окружающие по непонятной причине звали Мариусом) заставил ее пережить всю гамму чувств — от неукротимой страсти до безбрежного горя.

Грек Мариус, сирота и наследник многих миллионов, покинул родину, достигнув совершеннолетия и узнав, что дядя растратил все его деньги. Когда Марго его встретила, он работал докером в порту Ниццы. Она тут же влюбилась в этого угрюмого силача, помогла ему наняться шофером к Герреро, и началась их волшебная сказка. Десять месяцев в году они жили одни в огромном замке в Симьезе, за которым надзирали с помощью сестры Титины — ее поселили в детской, поскольку потомства Бог Мариусу с Марго не дал. Потом вдруг раздавался звонок госпожи Герреро:

— Марго, мы приезжаем из Женевы сегодня вечером, приготовьте к шести ужин на тридцать персон.

Постоянная боевая готовность входила в условия договора: стиль жизни четы Герреро был непредсказуем. Титина принималась чистить серебро, а Мариус с Марго выводили из гаража «крайслер» шести с половиной метров в длину и отправлялись на рынок Салейя за продуктами.

Вечером подавался ужин на тридцать персон, но, если гостей, не приведи господи, оказывалось не тридцать, а тридцать два, Марго впадала в ледяную ярость, вызывала хозяйку на кухню и

устраивала ей взбучку.

— Тридцать — это тридцать, а не тридцать два! — выговаривала кухарка, чеканя слова. — А если не уверены, говорите тридцать четыре! Ясно? Ладно, приятного аппетита, возвращайтесь к гостям, но чтобы это было в последний раз!

А потом с Мариусом произошел несчастный случай, ему отрезали обе ноги. Последним пристанищем эксцентричной троицы стала служебная квартира над теплицами в мамином хозяйстве, она досталась им, когда мы переехали. Старый калека поселился в моей бывшей детской. Видимо, это зрелище сильно меня поразило, и теперь я кладу в основу сюжета каждого нового романа какой-нибудь парадокс судьбы. Так, во всяком случае, утверждает доктор Плон.

*

За время летних каникул мамины волосы отросли. На следующий день после начала занятий Оливье Плон от имени всего класса радостно поздравил меня:

— Хорошо, что тебе вернули мать. Мы ее узнали.

Я уступил гласу народа и при них снова стал вести себя с мамой как любящий сын.

Год спустя — тебе уже поставили новый дюралюминиевый сустав — мои друзья увидели, как ты ходишь без костылей, играешь в теннис и бегаешь со мной по пляжу.

— Его они тоже подменили? — загробным голосом поинтересовался Ги де Блегор.

Ги здорово вырос и раздался в плечах, у него на щеках пробивалась щетина, голос начал ломаться, и меня терзала зависть. Я решил слегка изменить сценарий, по-другому распределив роли: отказался от идеи новой подмены и реабилитировал воскресшего отца. Теперь он нравился мне куда больше Бодуэна I, этого верзилы с моноклем, который выглядел согнувшимся под грузом мировых проблем, а на самом деле ни на что путное не годился.

И потому я сообщил приятелям, что во время последнего посещения больницы королева Бельгии добыла результаты моего анализа крови. Выяснилось невероятная вещь: моя мать изменила королю Бодуэну с графом Рене *до* моего рождения, так что он и есть мой настоящий отец.

Приятели были явно разочарованы. Столько шума из ничего. Я, оказывается, не только не принц, но даже не бастард. Их интерес ко мне пошел на убыль, им пришла пора больше

интересоваться девушками, и я, лишившись аудитории, стал поверять свои фантазии только бумаге.

Рождество 2000-го. На кухне полный кавардак, ты садишься напротив меня на стул твоей жены. Разжимаешь кулак и роняешь носки между ложкой и чашкой. Я натягиваю их на тебя и для проформы спрашиваю, хорошо ли ты спал. Ты молчишь. Я наливаю тебе кофе, пытаюсь разобраться в бесчисленном множестве пузырьков с гомеопатическими каплями. Ты ничего не хочешь есть. Я настаиваю. Ты велишь мне заткнуться, я отбиваюсь. Не стоит на мне срываться, делаю, что могу. Ты вдруг заливаешься слезами — сидишь за столом в шерстяном халате и плачешь, впервые на моей памяти. Ты просишь у меня прощения, говоришь, что не вынесешь: слишком тяжело, абсурдно, несправедливо. Всю ночь ты молил Бога послать тебе смерть. Таков нормальный ход вещей: жена на семнадцать лет моложе, ты должен уйти первым, ты никогда не боялся смерти и давно привел свои дела в порядок, чтобы обеспечить ей спокойную старость, а теперь вот она в больнице, и у нее опухоль в печени, такая большая, что просто не может быть доброкачественной. Ты отказываешься смотреть, как она уходит вместо тебя. Ты просишь Господа взять твою жизнь взамен ее.

Я не спешу комментировать твое своеобразное представление о Боге как владельце футбольного клуба, ведающего трансферами и заменами игроков. Я стараюсь подбадривать тебя, как умею. Ты не слушаешь. Ты выступаешь с речью. Защищаешь перед судом Всевышнего вашу любовь, напоминаешь, что она пожертвовала ради тебя молодостью, много лет помогала превозмогать страдания и вернула смысл твоей жизни.

— Я подавил ее, понимаешь? Это моя вина! Она добивалась успеха в любом деле, но все бросила, потому что я в ней нуждался. Я давно должен был умереть; она бы воспряла, начала жизнь заново… Я сказал ей это, я написал, но она наверняка порвала письмо! И вот что вышло.

Я не понял, что ты имел в виду, но не стал прерывать твой полный любви и то и дело прерывавшийся рыданиями монолог, покаянную оду женщине всей твоей жизни. Через два дня после твоих похорон она покажет мне знаменитое письмо, ты написал его в 1969-м, перед операцией «последней надежды».

> *Драгоценная моя!*
>
> *Я совершенно не боюсь, но, если мне суждено уйти, хочу сказать, как сильно люблю тебя. Самые прекрасные годы моей жизни прошли рядом с тобой, с первой нашей*

встречи ко мне вернулись вера и радость…

Моя душа никогда тебя не покинет и будет защищать тебя и нашего сына. Будь сильной, победи горе ради него. Внуши ему, что он не должен меня оплакивать, поскольку моя душа жива и любит вас.

Не носи по мне траур, живи так, словно мы не расставались: ведь наша любовь не умрет.

Если однажды одиночество станет слишком тяжким бременем, не жертвуй собой, как моя бедная мама, начни новую жизнь.

Что бы ты ни решила, все будет правильно. Люблю тебя,

Рене

В то декабрьское утро 2000 года я еще не понимал что побудило тебя написать такое письмо. Мы сидели на разоренной кухне, где не пахло домашней едой и повсюду валялись лотки и упаковки из-под замороженных полуфабрикатов «Пикар». Прежде чем лечь на операцию, мама заготовила еду на неделю, но тебе совсем не хотелось разогревать ни рагу из баранины с луком и репой, ни фаршированный перец по-ниццки, ни треску по-провансальски, ни жаркое из телятины — это было еще хуже, чем одному листать ваш семейный альбом с фотографиями. В то декабрьское утро я не нашел слов, способных победить твое отчаяние или поддержать твою абсурдную надежду спасти жену ценой собственной жизни.

Я смотрел на твои покрасневшие глаза, всклокоченные волосы, плохо выбритые щеки и забрызганный зубной пастой халат. Ты погрузился в пучину отчаяния, но при этом помолодел на десять лет: снова сел за руль, покупал продукты, стирал, пылесосил и категорически отвергал мои предложения о помощи, хотя перфекционистка-жена совершенно отстранила тебя от хозяйственных забот.

Впервые в жизни я чувствовал себя незваным гостем. Ты ушел в себя, отстранился, наглухо закрылся. Я отменил все дела в Париже, приехал заботиться о тебе, но сделать мог одно — следить, чтобы ты в разгар зимы не надевал мокасины на босу ногу. Я наконец осознал, как сильно ты любишь мою мать. И в твоей боли, твоем самоотречении, в этой решимости выторговать у Бога ее жизнь в обмен на свою, я был лишним. Я и не думал обижаться, словно оказался, как когда-то в детстве, перед дверью вашей спальни, подслушивая объявление о твоем грядущем самоубийстве. И тогда, я тебя понимал. Сейчас тебе было не до меня, и сейчас я мешал тебе, сковывал тебя, ты хотел полностью

отдаться своим молитвам и преуспеть в своих переговорах с Богом.

И у тебя все получилось. Господь удовлетворил твое прошение только наполовину, не отнял твою жизнь, а позволил воочию увидеть сотворенное им чудо, а вот хирург моей матери был сражен наповал. Инкапсулированная опухоль, за две недели выросшая до размеров мяча для игры в регби, оказалась доброкачественной. Треть печени пришлось удалить, но мама за месяц встала на ноги и выздоровела. Никаких осложнений, ни физических, ни моральных, ни особого режима, ни диеты. Правда мама слишком рьяно взялась восстанавливать форму с помощью гимнастики и заработала грыжу, снова легла в клинику, где ее подлатали, и продолжила в том же ускоренном темпе.

Через тридцать лет после твоего чудесного исцеления мама исполнила нам его римейк. Вы всю жизнь, с самой первой встречи, активно влияли друг на друга, не только не теряя при этом собственной индивидуальности, но усиливая ее, каждый по-своему: ты предавался воспоминаниям, так же неустанно, как неустанно садовник перекапывает землю, она развивала в себе исключительную способность забывать все, что мешает двигаться вперед, убирала прошлое, как крошки со стола, готовя его к перемене блюд. Убрать и забыть.

Но после твоей смерти ей расхотелось убирать. Она не способна забыть. Теперь ей это не нужно. А я чувствую себя столь беспомощным, как тогда, в декабре 2000-года, когда ты в одиночку сражался за ее жизнь. Я плод вашего союза, но не его венец, у вас своя история, и я всегда знал, что мне тебя не заменить… Ну, разве что в очень малой степени. Теперь, когда я еду на юг и, как черепаха свой панцирь, тащу с собой работу, а без четверти двенадцать по привычке спешу освободить стол в столовой, бывшей главным полем вашей битвы («Рене, да убери же наконец свои папки, дай мне накрыть обед!»), она говорит:

— Не нужно, оставь. Если бы ты только знал, как я скучаю по беспорядку, который устраивал твой отец…

В ее голосе звенят слезы, и она расставляет тарелки и еду среди моих бумаг. Ты, должно быть, ликуешь, глядя на нас оттуда.

Не знаю, утешит ли эта книга твою возлюбленную. Я на это надеюсь, но иллюзий не питаю. Если преуспею, мама еще острее ощутит твое отсутствие, если нет — она всего лишь узнает несколько дополнительных фактов из нашей общей биографии, которые — в лучшем случае — сначала ее шокируют, а потом заставят улыбнуться.

Что она узнает? Что я в восемь лет заменил ее двойником, а

тридцать два года спустя мы решили очистить холодильник и выбросили в помойку все, что она нам оставила. И солгали ей, когда она вышла из наркоза и первым делом спросила:

— Ну что, вкусно было?

— Восхитительно, — не раздумывая ответил ты. — Особенно говядина с оливками.

— И жаркое из фаршированной телятины, — быстро подхватил я, потому что никакой говядины ты не оставляла.

— Вот и хорошо, — пробормотала ты и снова погрузилась в сон.

Сомневаюсь, что смогу утешить ее, разговаривая с тобой в настоящем времени. Сам знаешь, я делаю это в основном для тебя. У меня есть должок перед тобой, лежит себе в ящике стола, я кое-что обещал тебе, и это обещание давно пора выполнить, ты хотел, чтобы я сделал один «подарок людям» еще при твоей жизни. Я помню твою просьбу — ты повторял ее много раз в разные моменты своей жизни, а я был вечно занят, и мне было недосуг:

— Напиши их историю. Пусть люди все узнают.

В глубине души ты остался несчастным маленьким сиротой, который мечтал творить миры словом, но на это не было времени, и ты был вынужден счищать фосфор с крыльев светлячков, чтобы у машинок, которые кормили твою семью, светились фары. Я не так глуп и знаю, почему ты с детства так поощрял мои литературные склонности и развивал фантазию: хотел сделать своим рабочим инструментом, пишущей машинкой.

Давай откроем ящик. И достанем голубую тетрадь.

Вообще-то сделанная твоими руками обложка тетради больше всего напоминает экран старого, плохо настроенного телевизора, разделенного на горизонтальные полосы голубого, коричневого и зеленого цвета. Вид у тетради невзрачный, распадающиеся листки склеены скотчем. Тетрадь ты исписал на три четверти в 1969 году, когда лежал в клинике в Савойе. Ты оказался последним хранителем воспоминаний о жизни твоей матери и бабушки. В детстве они были тебе защитой и опорой, потом ты вырос, и вы поменялись ролями. Ты зарабатывал продажей «Рене Мобилей» и законно гордился своим довольно противоречивым двойственным статусом: твой отец погиб на войне, и тебе полагались специальные льготы, но при этом ты содержал семью.

Твоя рукопись написана на бумаге в клеточку, мелким почерком, в ней пятьдесят три страницы и две части. Первая завершается так: «Продолжение — после операции». Вторая обрывается на похожей фразе: «Окончание — после следующей

операции».

Десять лет спустя тебе спротезировали другую ногу. В то время голубая тетрадь уже была у меня. Ты торжественно преподнес ее мне на восемнадцатилетие со словами:

— Допиши до конца. И используй для своей книги.

Я достал тетрадь из ящика и прочел ее целиком только после твой смерти. Кто-то назовет мою небрежность свинством, но, во-первых, я думал, что ты уже «озвучил» для меня все, что написано в тетради, а во-вторых, почерк у тебя такой мелкий, что мне пришлось-таки обратиться к офтальмологу. И я об этом не жалею. Ирония судьбы — у тебя была дальнозоркость и астигматизм, но тебе заменили хрусталики в тот самый момент, когда должна была увидеть свет моя первая книга: ты всегда читал мои тексты без очков. А я прочел твой текст и заработал близорукость.

Итак, с чего начать? Ты, как ни странно, приступая к изложению печальной истории твоей матери, начал издалека. *«Дядя Жюль был статным мужчиной с живым взглядом и усами, как у Сальвадора Дали».* Этот ставший звездой немого кино брат твоей бабушки в двенадцать лет потерял голос, искупавшись в ледяной воде. Семья Лосфельд жила бедно. Неподалеку от их домика, чуть выше по реке, стояла текстильная фабрика. Каждую ночь Жюль и девять его братьев собирали шерсть, выплеснувшуюся во время полоскания из красильных чанов и обмотавшуюся вокруг установленных ими в реке на дне столбиков. В конце месяца они отправлялись на фабрику с огромными баулами с шерстью, чтобы продать заводу его же шерсть и немного подзаработать.

Жюль нырял лучше всех, но получил хронический бронхит и вылечился от него только в 1890 году, под солнцем Ниццы. Его переезд в Ниццу оказался судьбоносным. Жюль был чертовски привлекателен, покорил много женских сердец, и одна из его случайных возлюбленных «на вечер», некая Лора, по уши в него влюбленная, забеременела. Папаша Лосфельд, плотник с высокими моральными принципами, заставил провинившегося немедленно «поправить дело», чтобы не опозорить семью. Молодые тут же обвенчались, а на пороге спальни малышка Лора ударилась в слезы и поведала супругу, как обманула его: она прекрасно понимала, что он может жениться на такой заурядной девушке только из чувства долга и потому притворилась беременной, для чего подложила на живот подушку.

Чтобы опять же спасти свою честь и не стать посмешищем всего города, Жюль вместе со своей супругой «по расчету» уехал на юг. Она так и не подарила ему наследника, но, как ты пишешь в своей голубой тетради, подушку они сохранили.

Твой дядя Жюль умел проигрывать: он не затаил на жену зла за толкнувшее ее на обман «здравомыслие» и счастливо жил с маленькой, застенчивой болтушкой, неустанно ей изменяя.

Надо сказать, что возможностей у Жюля было хоть отбавляй. Он сменил профессию мясника на шофера по найму и благодаря своей внешности имел большой успех у русских графинь и скучающих английских аристократок из отеля «Негреско». Чему немало способствовала роскошная «испано-суиза», которую ему завещала его первая хозяйка, вдова итальянского судовладельца.

Именно эта роскошная машина открыла перед Жюлем дверь в мир кино. Постановщики студии Викторин[9] часто арендовали ее для съемок, а Жюль никогда не расставался с любимицей, так что его одевали в безупречную ливрею, и он открывал дверцу машины в фильмах Луи Фейада,[10] Альфреда Машена,[11] Марселя Лербье[12] и Рекса Ингрема.[13] Иногда Жюлю доставалась роль побольше: его герой обнаруживал труп хозяина, отстреливался от преследователей из пистолета, падал с подножки авто, поскользнувшись на банановой кожуре, целился в задницу регулировщику клювом аиста, украшавшим решетку радиатора «испано-суизы». Случалось, и тортом в лицо получал. По твоему мнению, именно его образ вдохновил великого Билли Уайлдера на создание фильма «Бульвар Сансет». Глория Свенсон[14] играет забытую всеми звезду немого кино, к которой является ассистент Сесиля Б. Де Милля[15] и приглашает ее на студию «MGM». Когда слуга — в этой роли снялся Эрих фон Штрогейм[16] — привозит ее туда на умопомрачительной «изотте-фраскини», оказывается, что режиссеру нужна была не актриса, а машина.

Одним словом, дядя Жюль был главным героем твоего детства, единственным мужчиной в твоей семье. Время от времени он ненадолго появлялся в вашем доме, но еще неизвестно, занялся бы ты в восемь лет конструированием автомобилей, если бы он три-четыре раза в год не вывозил тебя на «испано-суизе» на природу. Странно, что ты никогда не говорил со мной о Жюле: наверное, опасался, что обаяние этого долгожителя затмит образ Эжена, твоего отца, которого ты никогда не видел. Ты делал все, чтобы я не забыл этого благородного изобретателя и героя, убитого на поле боя в двадцать три года. Когда мне исполнилось семь, ты подарил мне на день рождения его военный крест и был очень горд, когда я отдал тебе свою медаль 120-го обозного полка, хотя наградили меня за постановку рождественской сказки для детей младших офицеров. Но ты упорно молчал о популярном артисте, на которого я мог бы равняться, когда в пятнадцать лет шел на

сцену.

Ты рассказал мне о его карьере артиста лишь в 1991-м, когда я запустил свой первый фильм «Подруги моей жены» и дал тебе небольшую роль в эпизоде. Ты снимался инкогнито (чтобы мир кино открыл для себя талантливого восьмидесятилетнего дебютанта, но чтобы никто не мог ни сказать, ни даже подумать, будто я навязал своего отца продюсеру) и фигурировал в титрах под псевдонимом Рене Лосфельд. Я отдал дань уважения семье твоей матери, не подозревая, что таким вот подпольным образом ввел в мир седьмого искусства второго по счету Лосфельда.

Тетушка Лора каждую неделю водила тебя смотреть «фильм твоего дяди». Из-за маленького роста она носила высокие затейливые шляпки, чтобы доставать обожаемому мужу хотя бы до плеча, поэтому вы всегда сидели в последнем ряду. Так вот, тетушка Лора, ко всеобщему изумлению, умерла от рака груди. Она была очень застенчива, не хотела *затруднять* Жюля и пять лет топила боль в белом вине, не выпив ни капли спиртного на людях, и только после похорон в прачечной обнаружили тайник с бутылками.

Жюль положил в гроб усопшей супруги ту самую подушку, с помощью которой она симулировала беременность, воздав таким образом должное этой маленькой женщине, сумевшей дважды тронуть его сердце «ложью во имя любви» — в самом начале и в самом конце их истории.

Несколько месяцев Жюль был безутешен. Потом воспрянул, снова стал элегантным, остроумным и жизнерадостным и вывел из гаража старушку «испано-суизу», стоявшую «на приколе» с тех пор, как звуковое кино сыграло похоронный марш немому. «За этим что-то кроется», говорила твоя бабушка Гортензия. «Что-то» звалось М.Г., и ее духи пахли жасмином — это выяснилось благодаря забытому в бардачке носовому платку с инициалами и аромату, пропитавшему любимое авто дяди Жюля.

Гортензия пришла в бешенство от того, что ее пожилой младший братец начал новую тайную жизнь с «молодой распутницей», и решила порвать с ним всякие отношения в память о Лоре — той самой невестке, которую без устали третировала при жизни, находя, что толстушка недостойна ее обворожительного брата.

Имя «распутницы» выяснилось десять лет спустя после смерти дяди Жюля. Он сделал очень странную приписку к завещанию: объяснить ее можно было не только страстью к женщине, согревшей его последние годы, но и непреходящей нежностью к покойной жене. Жюль даровал любовнице право быть похороненной в семейном склепе, чтобы в вечном покое не

расставаться ни с одной из них.

В глазах Гортензии эта прихоть брата носила совершенно скандальный характер, кроме того, исполнить ее оказалось более чем непросто: М.Г. оказалась замужней дамой. Бедняжка М.Г. попала в безвыходную ситуацию: чтобы выполнить последнюю волю усопшего, ей пришлось бы завещать кремировать себя, разделить прах на две равные части и захоронить в двух могилах — мужа и любовника! После встречи с Гортензией М.Г. официально отказалась от такой чести, оставив склеп, где сегодня покоятся тетушка Лора, дядя Жюль, твоя бабушка, твоя мать и ты сам, в полной и безраздельной собственности нашей семьи.

*

Невероятная жизненная сага Гортензии была первой историей, воспламенившей мое детское воображение. Параллельно ты по утрам и вечерам рассказывал мне бесконечные, лихо закрученные шпионские романы, поэтому вымысел и реальность сливаются в моем сознании воедино. Нет, я не путаю одно с другим: по опыту мне хорошо известно, что вымысел часто предвосхищает реальность, и я всегда стремлюсь воспринять и выразить самые «невообразимые» ее проявления. Обожаю, когда читатели говорят «такое не выдумаешь» о персонаже или событии, которое я как раз выдумал «от и до», или спрашивают: «Откуда вы все это берете?» Из жизни, конечно.

Итак, история Гортензии. Я мало что почерпнул из голубой тетради, главное рассказал мне ты. Все героическое, смешное, грустное и неприятное. Впрочем, несколько тайн ты не раскрыл.

Гортензия, как и мы с тобой, рано повзрослела. В тринадцать лет она выглядела на все восемнадцать, у нее была мужская фигура, и она нанялась в большую бакалейную лавку в Рубе. Работа у нее так спорилась, что хозяин вскоре уволил двух других продавцов, а их жалованье отдал Гортензии, надеясь хорошо на этом сэкономить. Она работала за троих, чтобы оправдать свое повышение, и убеждала бакалейщика расширять дело. Он делал новые вложения, но в какой-то момент испугался собственной смелости и решил все продать. Семнадцатилетняя Гортензия получила эмансипацию,[17] выкупила лавку и неустанными трудами превратила ее в самый посещаемый магазин города. Уже в 1873 году она торговала деликатесами и колониальными товарами, став предтечей Эдиара и Фошона.[18]

Потом отец Гортензии разбился, упав с крыши, а мать тяжело заболела и слегла. Гортензия уже расплатилась с долгами — дело

приносило ей хороший доход — и решила доставить бедной женщине последнюю радость: она положила в джутовый мешочек двенадцать золотых луидоров — все свои накопления! — и отнесла матери. Прикованная к постели вдова плотника зачарованно глядела на золото, не веря своим глазам.

— Оно твое, матушка, — сказала Гортензия. — Ты многим пожертвовала, чтобы мы не голодали.

На следующий день мать семейства, предчувствуя скорый конец, собрала вокруг себя своих тринадцать детей и объявила, что хочет, пока жива, раздать каждому причитающуюся долю наследства. Дети мамаши Лосфельд по одному подходили к ее постели за золотым луидором. Когда настал черед Гортензии, смиренно вставшей в самый конец очереди, мать громко и торжественно объявила:

— Ты — самая сильная, тебе я ничего не оставляю.

Вот что ты записал в голубой тетради: *«Бабушка часто рассказывала мне об этой сцене — без малейшей горечи и с таким волнением, что я не смел осуждать поступок ее матери. „Понимаешь, — гордо говорила она, — благодаря мне мама смогла уйти в мир иной, как богатая дама, оставив детям наследство“».*

*

Каждую ночь, под утро, Гортензия запрягала двуколку и отправлялась на рынок в Лилль за овощами и фруктами.

На дорогах было неспокойно, и девушка, несмотря на внушительную комплекцию, могла стать легкой добычей разбойников, поэтому брат дал ей большой револьвер для защиты жизни и чести. Предусмотрительность Жюля оказалась как нельзя кстати: один раз, в пять утра, на повороте к лесу, перед коляской будто из-под земли вырос бандит: одной рукой он схватил лошадь за уздцы, в другой был зажат нож.

— Кошелек или жизнь.

Гортензия молча вытащила револьвер и выстрелила в негодяя, сбив с него кепку. Он бежал со всех ног, весть об этом эпизоде быстро распространилась по округе: больше никто и никогда не пытался встать Гортензии поперек дороги. Но судьба-злодейка зашла с другой стороны.

Гортензия провела молодые годы в тяжких трудах. Она прекрасно понимала что внешность ярмарочной силачки не слишком привлекает кавалеров, и была совершенно потрясена, когда у нее вдруг появился кавалер — молодой франт с усиками. Его звали Жюль, как и ее брата, Жюль по фамилии Деголланд, от

которой он отделил «Де», намекая на принадлежность к голландскому королевскому дому. Между мной и этим самозванцем нет кровного родства, однако, узнав из голубой тетради об этой детали, я почему-то ощутил странную связь с ним…

Итак, фальшивый принц женился на бакалейщице и вел за ее счет безоблачное существование. Угрызения совести супруга Гортензии не обременяли, а вот идей у него хватало. Он посоветовал разбавить торговлю деликатесами чем-нибудь попроще, например открыть в городском парке ларек и продавать по воскресеньям жареную рыбу с картошкой. Гортензия поручила мужу управлять новым делом, но Жюль очень скоро ретировался, сославшись на хрупкое здоровье: он боялся сквозняков. Гортензия не расстроилась и не испугалась лишней работы: ее переполняла гордость, когда они воскресными вечерами прогуливалась под ручку, и муж щеголял в костюме, на который ушла воскресная выручка! Он был очень нежен, хоть и сетовал иногда, что от нее пахнет едой.

Счастье Гортензии длилось недолго: год спустя краснобай заболел раком горла. Она принялась лечить его со всем пылом, на какой была способна, пригласила из Парижа, Брюсселя и Женевы лучших специалистов, но те оказались бессильны.

Чудным зимним днем, в десятиградусный мороз, Жюль де Голланд (он настаивал именно на таком написании) был похоронен, и на его могиле был водружен самый красивый на кладбище Рубе памятник. Узнав, что болезнь мужа перешла в финальную стадию, Гортензия развила бурную деятельность, чтобы не поддаться отчаянию. Она твердила мужу, что он очень скоро поправится, и одновременно заказала известному скульптору памятник будущему покойнику в натуральную величину. Раз уж так случилось, нужно все сделать честь по чести. Возможно, она даже лелеяла тайную надежду, что памятник будет закончен еще при жизни Жюля и он сумеет оценить всю силу супружеской любви: слуги отнесут его на носилках на кладбище, Гортензия будет держать его за руку, и они вместе откроют памятник. Для осуществления мечты не хватило нескольких дней.

Похороны были торжественными, многолюдными и стоили богатой бакалейщице едва ли не половину ее состояния. Вернувшись домой, она отослала родственников и слуг, закрылась в спальне и дала волю горю. Гортензия лежала на супружеской постели, уткнувшись носом в одежду любимого мужчины, и перечитывала хранившиеся в ящике секретера письма, которыми они обменивались до свадьбы.

Отдельно лежали конверты, перевязанные розовой ленточкой. Она с изумлением обнаружила, что это письма к Жюлю от некоей Лукреции. «Что за чудесная идея, дорогой, убедить Гортензию работать по воскресеньям! Так мы сможем проводить весь день в нашем любовном гнездышке».

На другое утро кладбищенский сторож едва не лишился чувств, обнаружив, что роскошная стелла с именем Жюля де Голланда вдребезги расколота, статуя разбита на тысячу осколков, а венки растоптаны, *«будто полчища гуннов прошлись по ним после урагана»*, так ты это описал.

Сторож был другом семьи и, как и все в Рубе — за исключением Гортензии! — знал об интрижке ее мужа-жиголо. Он сразу понял, кто и почему учинил разгром, и кинулся к вдове. Дверь и ставни дома были наглухо закрыты, сторож решил, что она укрылась у одного из братьев, успокоился и ушел восвояси.

В тот самый момент, когда старик барабанил в дверь, Гортензия лежала на полу в кухне, в луже растаявшего грязного снега, зажав в скрюченных пальцах рукоять топора. Во время «карательной экспедиции» она выместила гнев на камне, мраморе и цветах, а вернувшись, упала навзничь, сраженная приступом каталепсии. По иронии судьбы, жизнь ей спасла собачка Розетта, подаренная мерзавцем-мужем на годовщину свадьбы. Мороз был минус пятнадцать, кухня не отапливалась, малышка легла хозяйке на грудь и согревала ее теплом своего мохнатого тельца.

На другой день братья Лосфельды пришли навестить сестру, забеспокоились, взломали дверь и нашли Гортензию и Розетту — обе совсем окоченели и едва дышали. Жаркий огонь в очаге, растирание и водка привели в чувство и вдову, и пуделя, но Гортензия потом много лет ощущала отголоски первого припадка. Стоило ей разъяриться, и она вдруг застывала на месте и стояла, ничего не соображая и глядя в пустоту невидящими глазами. Ее обкладывали горячими компрессами, она приходила в чувство и как ни в чем не бывало заканчивала фразу или незавершенное дело. Избавил Гортензию от каталепсии скандально знаменитый профессор Шарко, применявший гипноз в медицинских целях. Излечение произошло на сеансе групповой терапии в большом амфитеатре больницы Сальпетриер, куда по странному стечению обстоятельств много лет спустя поместили ее впавшую в безумие дочь.

В заключение повести о первом браке Гортензии приведу твои каракули из голубой тетради:

«Любая другая женщина, столь жестоко раненная в самое сердце, пала бы духом, снова и снова вспоминая, как

подло была обманута предметом своей страсти. Моя бабушка уже на следующий день открыла свой магазин, сообщив нескольким кумушкам — они не преминули довести ее слова до всеобщего сведения! — что прошлое мертво, похоронено и больше никто и никогда не должен говорить с ней об этой истории.

18 сентября 1969 года

Продолжение после операции!»

Ты восстанавливался долго и мучительно — целых три месяца, — прежде чем вернулся к жизнеописанию Гортензии. Она поправилась куда быстрей тебя, целиком отдалась работе, а заодно проверила на собственном опыте справедливость поговорки «Лечи тоску заботой». В магазин заявился брат ее покойного мужа и потребовал долю совместного имущества супругов де Голланд, полагавшуюся ему, как законному наследнику.

Гортензию словно обухом по голове ударили. В торговле ей не было равных, но в юриспруденции она ровным счетом ничего не смыслила и растрогалась до слез, когда ее драгоценный Жюль предложил включить в брачный договор статью об общности имущества супругов, она приняла это за наивысшее проявление любви.

По завещанию подлеца Жюля она получила непрошеного компаньона, который, в довершение всех бед, был близнецом усопшего.

И вот тут на сцене появился Жюль номер три — тоже красавец, но человек совсем иного пошиба. Жюль Леруж возглавлял кооператив оптовых торговцев пивом. Он искренне восхищался деловым чутьем и мужеством молодой вдовы, которая под грузом несчастий сбросила нескольких лишних килограммов, и не понимал, отчего она вдруг лишилась сил, вдохновения и интереса к работе.

Узнав о притязаниях шурина Гортензии, Жюль дал ей совет: не платить поставщикам и наделать побольше долгов. Как раз тогда на углу Парижского бульвара и парка Барбье, близ центрального перекрестка города, продавался участок под застройку. Почему бы Гортензии не купить его и не открыть там большой ресторан? Жюль немедленно устроил Гортензии ссуду от своего кооператива, и на оглашении завещания братец де Голланда едва не лишился дара речи, услышав, сколько денежек придется выложить кредиторам в случае вступления в права наследства. Его и след простыл.

Избавившись от наглого нахлебника, Гортензия Лосфельд и Жюль Леруж стали компаньонами и занялись строительством знаменитого «Кафе дю Парк»: на трех этажах расположились обычная пивная, шикарный ресторан и кабаре. Торговец пивом обожал эстраду и был прирожденным импресарио, поэтому на сцене кабаре дебютировали будущие звезды Морис Шевалье и Мистингет, выступали там и знаменитости — Майоль, Фрагсон, Фрегель…

Гортензия и Жюль поженились, у них родилась дочь Сюзанна. Атмосфера дома, где царили бурные страсти, совершенно не подходила нежной, мечтательной девочке. Чета Леружей то и дело выясняла отношения: Жюль часто ездил в Париж на поиски красивых певичек, и Гортензия, под воздействием горького жизненного опыта ставшая жестокой ревнивицей, не реже двух раз в месяц закатывала мужу сцены, угрожая тем самым большим револьвером, что дал ей когда-то брат.

Однажды семилетняя Сюзанна застала ужасную сцену: ее отец стоял с поднятыми руками, а мать целилась ему в мошонку. Девочка разрыдалась, бросилась к родителям и встала между ними. Утешив малышку словами «Мама шутит!», Жюль и Гортензия отдали ее в пансион к монахиням, им все равно не хватало времени на дочь, да и кабаре вряд ли подходило для воспитания юной девушки. Каждую субботу Сюзанна возвращалась в «Кафе дю Парк», страшась увидеть отца бездыханным, а мать арестованной жандармами. Первая из многих психических травм, которыми будет отмечен жизненный путь твоей матери.

В шестнадцать с половиной Сюзанна так устала от железной дисциплины сестер-воспитательниц и театральных сцен, питавших страсть ее родителей, что вышла замуж за друга детства. Двадцатилетний Эжен был мирным изобретателем огнеупорного кирпича и руководил заводом с почти полностью автоматизированным производством. Началось все весьма трагично. Молодожены проводили медовый месяц в Париже, отправились посмотреть Всемирную выставку и решили покататься на большом колесе обозрения. Сюзанна и Эжен упоенно целовались, и тут вспыхнул пожар. Огонь и дым были повсюду, рушились балки. Эжен спас жену, вынес ее на руках, перешагивая через тела погибших.

Несколько месяцев спустя, когда Сюзанна только-только начала оправляться от потрясения, случилось новое несчастье: от диабетической комы скончался ее отец. Боль от потери ощущалась тем сильнее, что между Жюлем и Гортензией впервые за все годы брака воцарилась полная гармония. Леружи

заработали целое состояние, продав «Кафе дю Парк», и Гортензия решила переехать на юг (ей не было и сорока, но долгие годы тяжелого упорного труда совершенно ее измотали). Они подписали договор о продаже, чтобы на вырученные деньги купить три четверти мыса Антиб, «ничьи» земли на морском побережье. Сегодня они в большой цене. Смерть Жюля сорвала все планы, Гортензия совсем лишилась сил и впала в глубочайшую депрессию. Прошло полгода, она оправилась от болезни и… обнаружила, что ее надули.

Покупатели не только не внесли в банк причитавшиеся ей деньги за «Кафе дю Парк», они его практически уничтожили: продали оборудование, мебель и тысячи бутылок вина, составлявших один из лучших погребов на севере Франции, после чего объявили о банкротстве.

Твоя бабушка разозлилась и сочла себя оскорбленной. Все оставшиеся деньги она пустила на то, чтобы выкупить кафе и снова наладить дело в память о муже: «Кафе дю Парк» было их общим любимым детищем. Два года она возвращала доверие поставщиков, артистов и клиентов, заведение обрело былой престиж, а потом началась война.

22 августа 1914 года, на следующий день после Арденнского сражения, немецкие войска заняли район Лилля. Гортензия связалась с подпольем и очень скоро стала им руководить. Немецкие офицеры, большие гурманы, предпочитали «Кафе дю Парк» всем другим заведениям города. Официант по имени Норбер хорошо знал немецкий и, обслуживая клиентов, подслушивал их разговоры, узнавал весьма ценные сведения и сразу докладывал хозяйке кафе.

Норбер был занятным типом. Когда супруги Леруж продали кафе, он уехал в деревню разводить скаковых лошадей. Немцы реквизировали всех животных — за исключением Ирис де Самбр: в последний момент Норбер спрятал коня в хлеву у соседей. Потом Гортензия попросила его вернуться, и он согласился, выставив одно условие.

В результате конь по имени Ирис де Самбр провел войну 1914–1918 годов на чердаке ресторана в Рубе: копыта ради конспирации обмотали шерстяными тряпками. Каждую ночь Норбер сводил Ирис по лестнице и прогуливал его в ближайшем парке.

Соратники Гортензии достали Норберу немецкую форму, и он мог, столкнувшись с патрулем, заявить, что выгуливает лошадь своего командира.

— Потерпи малость, Ирис, — нежно нашептывал он коню. — Скоро мы вышвырнем проклятых бошей и ты опять станешь

королем бегов.

Породистый скакун отличался невероятно доверчивым и спокойным нравом, что благотворно сказывалось на всей команде Гортензии. К несчастью, в начале зимы 1917 года конь заболел, и Норберу пришлось пристрелить его. Год спустя Гортензия установила памятник павшим соратникам, где среди прочих стояло имя неизвестного солдата: Ирис де Самбр.

*

Странно, но с тех пор, как я ворую строки из голубой тетради, мне все кажется, что ты водишь моей рукой. Пожалуй, следующий эпизод я спишу у тебя слово в слово: прекрасно помню, как ты пересказывал его другим, и уверен, тут очень важно сохранить твой стиль. Это был твой любимый рассказ. Он был тебе дороже всего. Пацифист в душе, ты часто вел себя агрессивно в силу обстоятельств — вот и оказалось, что этот случай ты воспринимал, как символ примирения этих своих качеств.

Итак, передаю тебе перо, переписывая слова, жмущиеся друг к другу, кренящиеся вправо, укладывающиеся, подобно мелким волнам, в клеточки страниц и то и дело вылезающие на поля, точь-в-точь, как ты сам.

Однажды январским вечером 1916 года случилась беда. Несколько дней подряд фатоватый офицер в форме «Уланов Смерти» (элитная часть, предтеча СС в следующей войне) заходил в «Кафе дю Парк» и сидел до семи вечера, когда начинался комендантский час. Однажды он явился без пяти семь, когда официанты уже закрывали двери и окна, сел за стойку и заказал выпивку. Моя мать помогала Гортензии и тоже была в зале. Гортензия, притворившаяся, что не знает немецкого, знаками предложила офицеру удалиться.

Тот отвернулся и подошел к окаменевшей от ужаса Сюзанне. Не обращая внимания на мои голодные вопли из дальнего зала, он схватил Сюзанну за подбородок и принялся на дурном французском расточать ей пошлейшие комплименты. Гортензия вмешалась, отвела его руку, грубиян побагровел от гнева, выхватил из ножен саблю, воткнул в пол и бесцеремонно схватив Сюзанну за талию, прижал к себе.

В ту же секунду Гортензия налетела на обидчика, ткнула ему в спину дуло револьвера, осыпая проклятиями. Немец опрометью кинулся к выходу, даже не вспомнив о сабле. Он распахнул дверь и

позвал двух солдат, которых оставил стоять у ресторана.

Укрывшаяся в объятиях матери Сюзанна была на грани обморока, а я, ничего не зная об этих драматических событиях, все громче орал от голода и обиды в промокших пеленках. Офицер отдал короткий приказ, и солдаты разоружили Гортензию: она, понимая, что для нее все кончено, не оказывала ни малейшего сопротивления, только бы спасти дочь.

Но в тот момент, когда немец вставлял саблю в ножны, глядя, как солдаты уводят несчастную хозяйку, случилось чудо.

В зале появился мужчина в генеральской форме, скомандовал: «Хальт!», приказал солдатам освободить задержанную, учтиво ей поклонился и на великолепном французском попросил принять извинения боевого командира, удрученного гнусным поведением солдафона, который не достоин носить форму немецкой армии. Он готов наказать негодяя немедленно, самым строгим образом и прямо у нее на глазах. Генерал повернулся к стоявшему навытяжку, позеленевшему от страха офицеру и с такой силой ударил его по щеке, что сбил с головы черное кепи, потом переломил надвое саблю, сорвал эполеты, приказал солдатам связать ему руки веревкой, как какому-нибудь бандиту (веревку Гортензия предоставила ему незамедлительно), доставить в комендатуру и посадить под замок. Быстро выписав ордер на арест на бумажке со счетом от «Кафе дю Парк», он скомандовал: «Raus!»[19]

Оставшись наедине с дамами, генерал галантно поклонился Сюзанне, еще раз принес извинения от имени германской армии и объяснил, что по чистой случайности прогуливался близ парка Барбье и был удивлен странным поведением офицера: тот вошел в кафе перед самым закрытием, неизвестно зачем оставив у входа двух солдат. Генерал укрылся в нише окна и через щель в ставнях наблюдал за происходящим.

Бабушка описывала мне эту сцену со слезами на глазах. Генерал — позже он занимал ответственные посты в правительстве Веймарской республики — не только не задал ей ни одного вопроса о револьвере, но даже вернул ей его, предварительно разрядив, и сказал, что она может сохранить оружие в качестве сувенира, и отныне и она сама, и вся ее семья находятся под его личной защитой. Прежде чем уйти, генерал попросил Гортензию оставлять за ним по понедельникам отдельный кабинет, где он вместе с офицерами штаба желал бы наслаждаться ее знаменитыми фирменными блюдами, а все необходимые продукты предоставит интендантская служба.

До самого конца оккупации Гортензия спокойно работала, а ее люди передавали союзникам полезнейшие сведения.

*

Такова была твоя версия случившегося, но мне захотелось услышать бабушкин вариант, и как-то раз, в субботу, когда мы с ней пекли традиционный яблочный пирог, я попросил ее рассказать о том случае. Не переставая чистить яблоки, она весьма охотно описала попытку изнасилования всего двумя, но очень выразительными штрихами: пальцы офицера, рвущие ее корсаж, и пресловутый револьвер в руке Гортензии, после чего перешла к подробному описанию счастливой развязки. Помню, как затуманился ее взгляд при упоминании о генерале.

— Мы переписывались между двумя войнами. Знаешь, он был очень достойный человек. Участвовал в заговоре против Гитлера.

В то время я, как и все мои ровесники, мало что понимал про всех этих немцев, но прекрасно помню эпилог этой истории, который с невероятным волнением в голосе рассказала мне бабушка.

Как-то раз, около полудня, когда штабные офицеры собрались на обед в отдельном кабинете «Кафе дю Парк», генерал отвел в сторонку Норбера — того самого, у которого был конь, — и, глядя ему прямо в глаза, спросил по-немецки, как поживает его лошадь. Норбер не отвел глаз. Поняв, что притворяться опасно, он ответил:

— *Es ist tot, Herr General.*[20]

Генерал при известии о гибели скакуна склонил голову, а потом, положив руку на плечо официанту, сказал, уже по-французски:

— Соболезную, дружок.

Обоим все было понятно. Генерал не столько хотел выразить сочувствие, сколько предостеречь. Норбер по-прежнему сообщал Гортензии обо всех разговорах, которые успевал подслушать, подавая немецким офицерам голубей и кислую капусту, однако предупреждал, что сведения могут оказаться ложными. Очень скоро догадка подтвердилась.

Не знаю, почему меня, семилетнего мальчика, так потрясла эта история. Прошло много времени, прежде чем я сумел в полной мере оценить проницательность и хитрость генерала, который не уронил своей чести, сохранил верность долгу и проявил лояльность к противнику. Ведь его поведение было чистой воды «сговором с врагом»…

Несколько недель спустя, дождливым вечером, мы были с бабушкой в ее старой квартире, где пахло нафталином и жавелевой водой. Она была в тот день особенно печальной.

— Хочешь на него посмотреть? — вдруг спросила она.

И показала мне пожелтевшую вырезку из газеты за 1943 год с фотографией генерала фон Г., сделанной перед казнью по приговору руководства Рейха. Потом бережно убрала ее в заветный шкаф, где хранила сувениры, оставшиеся от мужа и нескольких ее поклонников, которых она отвергла, запретив себе даже думать о личном счастье.

Полагаю, на страницу 45 голубой тетради ты пролил йогурт. Все мои усилия отскрести застарелую молочную крошку оказались тщетными, некоторые слова расплылись, лишив меня возможности прочесть главу *«Еще один претендент на руку моей матери!»*. Восстанавливаю ее по памяти.

В 1918 году англичане освободили Лилль и окрестности. Но для Гортензии война не закончилась. Покидая Рубе, Уланы Смерти подожгли «Кафе дю Парк», а сама она подхватила испанку. Лечить эту болезнь не умели, она убивала за три дня, и к миллионам павших на полях сражений Первой мировой войны добавились двадцать пять миллионов жертв эпидемии.

Твоя бабушка никогда не шла на поводу у своего организма и потому решила бороться с гибельным вирусом, как с насморком, который в ее семье всегда лечили горячими ножными ванночками с «белой водой» — так они называли перекись водорода. Погрузив ноги по щиколотки в таз, Гортензия терпеливо ждала результата, пять минут, десять, поняла, что зря теряет время, а ее неугомонная натура требовала немедленного результата, и на глазах у потрясенной дочери она залпом выпила все, что было в тазу.

Тридцать секунд она шумно, со всхлипами, дышала, потом еще двенадцать часов потела, заливая матрас, паркет и соседа снизу. Назавтра она встала совершенно здоровой и немедленно принялась выхаживать Сюзанну, которая заразилась от нее. Дочь не обладала темпераментом матери и наотрез отказалась пить «кислородный бульон», так что температура у нее подскочила до сорока.

— Не смей сдаваться! — вопила Гортензия. — Подумай о муже, он со дня на день вернется! Ты же не хочешь, чтобы он застал тебя в таком состоянии?

Гортензия отчаянно пыталась поддерживать в Сюзанне надежду, уверяла ее, что получает через подпольщиков сведения об Эжене: он чудом уцелел в Вердене, проявил героизм во время франко-английского наступления в Салониках, потом его внедрили в немецкий штаб в Багдаде, после чего он попал в плен, но с ним обращаются хорошо, как с ценным заложником. Увы, надежда не могла перебороть вирус: Сюзанна умирала.

Она спаслась благодаря своей красоте. Английский военный хирург без памяти влюбился в Сюзанну за неделю до ее болезни, когда та разбирала завалы, что остались от «Кафе дю Парк», и принес ей сульфамиды, единственный эффективный на тот

момент препарат, нарушив при этом запрет командования делиться лекарством с гражданским населением.

Сюзанна выжила, но ответила отказом пылкому влюбленному. Ей пришлось объяснить ему, что она ждет возвращения обожаемого мужа, которого не видела с самого начала войны. Майор умел проигрывать. Он простился с Сюзанной и вернулся на родину, где предстал перед военным трибуналом за спасение человеческой жизни.

Как только дочь поправилась, Гортензия, которая всегда предпочитала шоковую терапию дипломатии, сообщила ей, что Эжен погиб три с половиной года назад.

А тут еще ты отличился — перестал ходить. Диагноз педиатра прозвучал как гром среди ясного неба: рахит в последней стадии.

— Этот ребенок умрет, если вы сейчас же не увезете его на юг, к солнцу.

Гортензия тотчас продала то немногое, чем еще владела: «Кафе дю Парк» было практически уничтожено, страховки у нее не было — она не желала обогащать посредников и всю прибыль вкладывала в дело. Схватив заморыша-внука и убитую горем дочь, Гортензия уехала в Ниццу и потратила последние деньги на покупку небольшой квартирки, которую брат Жюль, ставший звездой немого кино благодаря верной «испано-суизе», нашел для нее на улице Бюффа, прямо за Английским бульваром.

*

Представляю, как вы жили втроем в этой сумрачной и унылой квартире. Именно там в восемь лет, совершенно вылечившись от рахита и анемии, ты развил бурную деятельность и начал мастерить деревянные машинки. Гортензия делила кровать с Сюзанной в спальне, тебе достался раскладной диван в гостиной, на который четыре десятилетия спустя раз в месяц укладывали меня, когда я приезжал на выходные.

Представляю, как ты отрывался от работы, откладывая рубанок и светлячков, чтобы уговорить мать немного развеяться, пойти потанцевать, снова начать жить. Она становилась все красивей, а ты хотел видеть рядом с ней мужчину, представлял себе его большую, теплую и крепкую ладонь, мечтал, как вы будете гулять, держась за руки. Стеклянная рамка с фотографией отца, которого ты совсем не знал и все-таки целовал каждый вечер перед сном, была такой холодной…

Но Гортензия, бросившая все, чтобы спасти твою жизнь,

теперь ждала ответной жертвы от дочери. А может, инстинктивно хотела защитить «малышку» от нее самой, от ее страхов, демонов, срывов и паранойи, которая очень скоро приведет ее на грань безумия… Всякий раз, когда Сюзанна собиралась на свидание, безжалостная Гортензия впадала в дикую ярость, обвиняя дочь, которая бросает тебя, чтобы предаться распутным удовольствиям.

— Хочешь опозорить семью? Убить меня, унизить сына?

— Но, мама, я всего лишь собираюсь потанцевать…

— Потаскушка — вот что скажут о тебе люди! И неблагодарная дочь!

Описывая мне такие сцены, ты всегда подражал их голосам. Твоя бабушка впадала в такой раж, что, казалось, ее вот-вот хватит удар, Сюзанна под градом несправедливых обвинений, видя ярость матери, начинала рыдать, тщательный макияж шел насмарку, и она оставалась дома.

— А впрочем, — вдруг остывала Гортензия, вновь становясь нежной и великодушной, — поступай, как знаешь, дочка. Ты совершеннолетняя, учись отвечать за свои поступки.

Возмущенный этим шантажом, столь губительным для матери, ты научил ее гасить гнев Гортензии в зародыше. Заметив однажды, что привести бабушку в чувство может только звон бьющейся посуды, ты придумал ставить все выщербленные тарелки и стаканы на полке отдельно. Когда Гортензия принималась метать громы и молнии, Сюзанна открывала буфет, подходила к сидевшей в вольтеровском кресле фурии и молча била об пол фарфор, фаянс или хрусталь. Тиранша умолкала на полуслове, как во время приступа каталепсии.

— Вернусь не поздно, — обещала Сюзанна и шла к себе одеваться.

Она никогда не задерживалась. Сюзанна так и не решилась начать новую жизнь, не вышла замуж. Овдовев в девятнадцать, она умерла накануне семидесятилетия, оставшись до конца верной мужу. Ты как мог боролся с ее смирением, которое — кто знает, во благо или во вред? — поддерживала в ней Гортензия, но ты рос, все больше походил на отца, и Сюзанне все меньше хотелось искать ему замену. Мечтая освободить мать, ты стал главным виновником ее добровольного заточения. Она не хотела свободы. Сначала было слишком рано, а потом вдруг сразу стало поздно, и Сюзанна ушла в мир иной с печальной улыбкой исполнившей свой долг женщины.

*

Шли годы, ты почти забросил машинки, переключился на детекторные радиоприемнички (на корпус шли жестянки из-под печенья), продавал их в лицее и содержал бабушку и мать: Гортензия не позволяла Сюзанне наняться на работу.

Последний период жизни твоей бабки — как жаль, что я ее не застал! — остается для меня тайной за семью печатями, поскольку ты не слишком любил о нем говорить. Почему женщина, начавшая с нуля и своим горбом заработавшая миллионы в эпоху, когда феминизм был не более чем эксцентричной теорией, так жестоко притесняла дочь, живя при этом за счет несовершеннолетнего внука? Ты всегда защищал бабушку от моих обвинений с той же страстью, с какой пытался освободить мать от ее тирании. Но любому терпению есть предел, и ты решил стать военным моряком, невзирая на родовое проклятие: большинство Ковелартов гибли на полях сражений, не дожив до тридцати лет. Ты, который терпеть не мог математику, освоил и элементарную, и высшую, и был готов к поступлению в Высшее военно-морское училище, когда твоя мать подхватила еще одну загадочную неизлечимую болезнь. Лежа на смертном одре, она взяла с тебя клятву, что ты никогда не станешь офицером, не получишь за воинскую доблесть Военный Крест, как отец, а будешь заниматься мирной профессией и растить детей. Клятва была дана, Сюзанна поправилась, а ты пошел изучать право.

Ты не затаил ни злобы, ни горечи из-за потонувшей в математических абстракциях мечты о море и посвятил все свободное от занятий время созданию профсоюза, вместе с Полем Валери добивался открытия юридического факультета в Ницце, основал с его помощью чемпионат Франции среди университетских сборных и руководил им до 1939 года — словом, создал себе команду, с которой время от времени «выходил в море».

*

Началась Вторая мировая война. Сюзанна провожала сына, и ей казалось, что история повторяется. Она отчаянно сопротивлялась воспоминаниям, чтобы не позволить страху убить надежду, и вела подробный дневник. Две ее тетради лежат передо мной — «Исход 39» и «Исход 40». Наклонным, как у тебя, но разборчивым, изящным, ровным почерком она описывает события и чувства, дабы «исполнить долг надежды», внести свою скромную лепту в историю войны.

Жизнь Сюзанны состояла из ожидания новостей с фронта, неотвязного страха за тебя и редких моментов счастья, которые дарили ей письма… Счастье пополам с тоской, короткий отпуск, новое ожидание, исход, надежда, отчаяние, пустой почтовый ящик. Сколько продлится эта война, как долго придется им с Гортензией молиться о возвращении единственного в семье мужчины? Сюзанна вела дневники много месяцев, но я заметил всего одну существенную перемену: в 1939-м она называет Гортензию «мама», а в 1940-м — «бабушка», словно твое отсутствие вернуло ее в детство, сплавив вас воедино.

У тебя была особая война. Верный пацифистским убеждениям и помня о данной Сюзанне клятве, ты наотрез отказался поступать в училище офицерского резерва. Тогда тебя послали учиться на сержанта, и ты заработал нашивку в куда менее комфортабельных условиях. Альпийский стрелок, младший лейтенант 94-го Альпийского батальона, ты был назначен командовать блокпостом в Альпах, в двух шагах от итальянской границы, вдали от всякой цивилизации. Начальство то ли что-то проглядело, то ли приняло к сведению отметку «склонен к упрямству», значащуюся в твоем личном деле, но, прибыв на место, ты обнаружил, что указанный на штабной карте блокпост только на ней и существует. Обосновавшись на вершине горы со своими четырьмя десятками вояк, крестьян с берегов Везубии, которые пытались утопить в местном вине тоску по дому, ты решил построить этот мифический блокпост сам.

Ты уподобился Вобану,[21] вручил своим солдатам мастерки, пробудил в них профессиональную гордость, придав смысл их существованию, и блокпост «Ковеларт» был закончен 17 июня 1940 года, через семь дней после того, как итальянцы объявили нам войну. 20 июня они начали наступление в Альпах, на всем протяжении от Швейцарии до Средиземного моря. Вы спокойно ожидали появления неприятеля в неприступной крепости, но тут стороны подписали перемирие. Ты получил приказ сложить оружие и передать ключи от крепости итальянцам: они очень хотели получить ее от вас в наследство и терпеливо ждали, когда вы уйдете, наблюдая за вами в бинокль.

Ты подчинился — на свой лад. Дал приказ к отступлению и подорвал этот мифический блокпост, который вы сделали реальным. Твои люди разошлись по домам, смеясь сквозь слезы, навсегда объединенные той «странной войной», где им пришлось стать строителями.

Ты снова открыл адвокатскую контору. Летом 1940-го ты, как и большинство французов, видел в Петене спасителя, предупредившего бойню, но все же засомневался, когда один из

приятелей, вошедший в вишистское правительство, предложил тебе пост в Министерстве спорта, памятуя о знаменитых университетских чемпионатах. Твои иллюзии касательно политики маршала быстро улетучились, и ты предпочел вместе с другими друзьями защищать макизаров и евреев, которых преследовали вишисты. Ты завидовал яркой судьбе своего лицейского товарища Ромена Гари, тоже единственного сына у любящей матери, которая вырастила его одна, и скорее всего последовал бы за ним в Англию, но… уже был отцом семейства.

— Отправляйся! — приказывала бабушка, слушавшая Лондонское радио по детекторному приемничку твоего производства.

— Останься! — умоляли твоя мать и твоя жена Клоди.

Ты не уехал и стал, по твоему собственному скромному определению, «подпольным подпольщиком». Помогал спрятаться в надежном месте противникам вишистского режима, которым грозил арест, завербовал чиновника из префектуры, и тот снабжал партизан фальшивыми документами и продовольственными карточками.

Ты не раз обманывал бдительность гестапо благодаря актерскому дарованию и изобретательности, но после освобождения был арестован по доносу коллаборационистов, давших против тебя показания, чтобы замолить грехи. Твоя жизнь пошла прахом. Внесем ясность: тебе могли поставить в вину только руководство спортивным обществом для неимущей молодежи, хотя ты сразу ушел оттуда, узнав, что правительство использует его в пропагандистских целях. Бывший полицай, которого ты однажды смешал с грязью, жаждал твоей крови. Когда по Лондонскому радио сообщили, что шестерых партизан в Ницце расстрелял некий Ганс Богларт, негодяй ухватился за отдаленное сходство фамилий (Богларт — Ковеларт) и заявил, что ты и есть тот самый убийца. Обвинение выглядело совершенно нелепым, но в те времена и такого было достаточно.

Тебя бросили в подвал гостиницы, временно служившей тюрьмой, как раз когда рождалась твоя дочь Катрин, лишили связи с внешним миром и возможности доказать, что выдвинутое против тебя обвинение основано на отдаленном звуковом сходстве. Ты пытался заглушить тревогу, изучая тонкости аграрного права: когда освободители с нарукавными повязками забирали тебя, ты прихватил первую попавшуюся под руку книгу. *Сервитуты проезда, положения об аренде, эмфитевтические арендные договоры* с грехом пополам помогали тебе забыть, что каждый день во дворе расстреливали кого-нибудь из сокамерников.

Однажды утром на пороге возник свежеиспеченный капрал Французских Внутренних сил с автоматом на руках и стал грозить тебе немедленной расправой. Ты ответил этому жалкому болвану, что для начала было бы недурно вставить обойму. В тринадцать лет ты не стал убийцей благодаря незаряженному оружию. Повторится ли чудо в сумятице первых военных дней, отведет ли оно от тебя руку с автоматом?

Вне себя от ярости и унижения, молодчик пытался справиться с перекосившейся обоймой, вопя, что несколько мгновений отсрочки ничего в твоей судьбе не изменят. И чудо, тридцать лет назад спасшее твое бабушку от немецкого офицера, повторилось. В камеру неожиданно вошел полковник, вырвал у горлопана автомат, проглядел твое досье, двинул юному патриоту по физиономии, разжаловал его и запер вместо тебя в камере.

26 июня 1945 года гражданский суд Ниццы вернул тебе доброе имя, и ты покинул здание рука об руку с кюре, надевшего повязку с эмблемой «Свободной Франции». Альфред Дома, единственный приходской священник, арестованный гестапо во время войны, дал показания в твою пользу вместе с другими участниками Сопротивления, которым ты помог.

Твоя мать, в очередной раз оплакивавшая судьбу сына, лишилась чувств от счастья, увидев тебя на пороге. А ты первым делом кинулся благодарить бабушку, словно она поделилась с тобой частичкой былого везения.

Ты не был суеверен, просто хотел выразить признательность.

*

Жан-Пьер Рюден — один из последних здравствующих и поныне свидетелей еще одной истории. Он получил на фронте немало ранений и еще больше наград, был в свое время самым крупным книготорговцем Ниццы. Ты всегда представлял его как шурина от первого брака. Сейчас Жан-Пьеру восемьдесят шесть.

Я знал, что в послевоенные годы вы вдвоем устраивали поразительные шуточные представления и всегда при полном аншлаге. Например, вы прочли курс лекций в большом отеле в центре Ниццы, на которые собирался весь город. Тема одной из них звучала так: «Как капиталисты разоряют изобретателей». Надев парики, наклеив усы и бородки, вы представлялись жертвами мультинациональных корпораций и чиновников.

Ты изображал барона Рене фон Мейленмейстера, автора революционного изобретения — счетчика потерянного времени для приемной Брюссельского суда. Бельгийское правительство

поспешило перепродать счетчик всем европейским странам, а тебе с этих сделок ничего не перепало.

Твой друг выступал в роли биолога Жана-Пьера Дика Девятого — воспитанника детского дома, усыновленного 9-й колониальной пехотной дивизией, который провел всю войну в Луизиане, где запустил программу «Дойки белых женщин». Он сравнил материнское молоко женщин разных рас и выяснил, что у негритянок его меньше и оно не так богато кальцием, как у их белых сестер. Биолог учредил добровольное общество, призванное доить белых женщин с гиперлактацией, чтобы кормить излишками голодающих младенцев из черных кварталов. К несчастью, швейцарская продовольственная компания перехватила инициативу и перевербовала сотрудников, так что теперь грудное молоко используется исключительно в производстве молочного шоколада, а Жану-Пьеру осталось лишь оплакивать свое изобретение.

Вещая с трибуны, вы так отчаянно боролись с одолевавшим вас смехом, что едва не плакали, заряжая весельем зрителей. Всех присутствующих просили подписать петицию — они делали это с большой охотой, хоть и понимали, что их разыгрывают, — чтобы ты в конце года получил причитающуюся тебе компенсацию и чтобы на использование грудного молока в швейцарской кондитерской промышленности был наложен запрет. Король Бодуэн и шоколадный консорциум были крайне удивлены, получив эту петицию. Вот почему, дорогой доктор Плон, я вырос таким фантазером.

Одну деталь Жан-Пьер Рюден упомянул вскользь: оказывается, по твоей настоятельной просьбе, вы давали представления в отеле «Скриб». Именно там, где несколькими месяцами раньше тебя держали в тюрьме и угрожали расстрелять без суда и следствия.

Думаю, когда наступил мир, ты решил обеззаразить это зловещее место силой юмора.

Я убрал голубую тетрадь в толстую папку с пометкой «Рене», где лежат твои письма, рисунки, факсы ко дню рождения, результаты твоих последних анализов и сообщения о кончине: «Нис-Матен» поместила даже два некролога, по-разному написав твою фамилию. Такая посмертная шуточка совершенно в твоем стиле: ты словно захотел развеселить тех, кто тебя оплакивал.

Я убрал в толстую папку с пометкой «Рене» голубую тетрадь, но она меня не отпускает. Будит среди ночи, напоминает, что я должен под конец рассказать еще кое-что и завершить повествование, а я пытаюсь увильнуть, чтобы не вспоминать один

тяжелый эпизод из моего детства. Но тетрадь протестует. А тетрадь — это ты.

Поэтому я снова ее открываю.

В тот день, когда Гортензии исполнилось восемьдесят, она объявила, что больше не сделает ни шага и умрет в своем вольтеровском кресле. Целыми днями она читала, раскладывала пасьянсы, слушала «ковелартон». Ты с пятнадцати лет неустанно трудился, мастеря этот самый крохотный в мире детекторный радиоприемник и надеясь запатентовать его. К несчастью, твоя мечта так и осталась нереализованной — не хватило денег.

Неделя проходила за неделей, а твоя бабушка все больше времени проводила с приемником возле уха, слушая новости, радиопостановки, модные песенки, и одновременно читала газету от первой до последней строчки. Однажды ты заметил, что она держит ее вверх ногами. Сколько времени Гортензия скрывала свою слепоту? Все последние годы ее жизни вы с матерью по молчаливому уговору разыгрывали комедию — если и помогали ей за едой, то украдкой, показывали фотографии, от которых она приходила в восторг, интересовались ее мнением по любому поводу

— Как тебе мое новое платье, мама? — с тревогой в голосе спрашивала Сюзанна, вертясь перед Гортензией.

— Не такая уж я дура, но все равно спасибо, — за неделю до смерти огорошила тебя Гортензия. — Не говори матери, что я знаю, что она знает, что я притворяюсь.

И унесла в могилу свой секрет Полишинеля. То была последняя уловка женщины, которая преодолела все невзгоды, делая вид, что они просто не существуют.

Похоронив мать, Сюзанна не обрела свободы, а предалась скорби по матери и мужу. Но тебя она щадила, и за это ты любил ее еще сильнее.

— Думаешь, если бы стал моряком, ты был бы счастливей? — робко спрашивала она, глядя, как ты корпишь над очередной тяжбой.

Конечно, нет, отвечал ты. И был очень убедителен. Ты унаследовал от Гортензии великий талант хранить в себе все сожаления, трудности и страдания.

— Ты будешь счастлив, да, милый? — заклинала она со слезами на глазах.

Так Сюзанна вырвала у тебя второе и последнее обещание в жизни. Убив в зародыше твою мечту о морском просторе, теперь она хотела видеть тебя счастливым. Ты сдержал слово. Вопреки всему. Я тому свидетель.

В 1969 году ты воскрес к жизни благодаря новенькому тазобедренному суставу и жалел лишь о том, что Сюзанны уже не было на свете. Я прочел об этом в голубой тетради. Ты очень надеялся, что твое возрождение навсегда прогонит терзавших ее демонов.

У меня остались смутные, но яркие воспоминания о бабушке, которую я знал очень недолго. Ночуя у нее, я превращал квартиру в огромный полигон и разыгрывал воздушные бои и морские сражения. Она поощряла меня так весело и вдохновенно, что мама, приводя меня на улицу Бюффа, слегка терялась.

— Не беспокойтесь, Поль, мальчику ведь нужно поиграть. Бегите, все будет хорошо!

В спальне Сюзанны стояла огромная кровать с медными спинками, я накрывал простыней швабру, и получалась «Святая Мария», шхуна Христофора Колумба, на которой он открыл Америку. Прежде чем «подняться на борт», я притаскивал с кухни кастрюли, сковородки, тарелки, ножи, вилки, ложки и электрический вентилятор, без него бури было не устроить. Когда море стихало, Сюзанна садилась в шлюпку — старое кресло Гортензии на колесиках — и делала вид, что гребет, а пятками отталкивалась от пола и кричала:

— Эй, на корабле! Разрешите нам подняться на борт!

Я позволял, и она швартовалась к «Святой Марии» и выгружала продовольствие, все что я любил: провансальскую пиццу, пирог с ревенем, горячий шоколад. Иногда она заставала на борту эпидемию желтой лихорадки или тифа, искала меня среди погибших матросов и принималась лечить лакричными леденцами. Я притворялся умирающим, пачкал белье черной пеной изо рта, но Сюзанна не роптала, даже если абордажные крючья пиратов и циклоны приводили простыни в полную негодность.

— Ничего страшного, — улыбалась она, успокаивая перепуганную маму. — Он должен открыть Америку.

Возможно, естественность и задор, с которыми эта серьезная величественная дама участвовала в играх внука, были свидетельством жившего в ней безумия. Не знаю. Один-единственный раз я видел, как Сюзанна вышла из себя, как ее покинула суровая и кроткая сдержанность, помогавшая ей всегда держать спину прямо. Один-единственный раз я почувствовал в ней протест, ярость и ненависть. Один-единственный раз в ней пробудилась властная натура Гортензии, разорвав пелену загадочной улыбки, за которой клокотало родовое безумие.

Был как раз мой день рождения — мне исполнилось семь. Она спросила, что мне подарить, и я захотел покрасоваться:

— Книгу.

Первым мне в голову пришло название приключенческого романа «Черные одежды»:[22] я смотрел его экранизацию по телевизору у другой моей бабушки. И вот мы отправились в поход, в конец улицы Бюффа. Сюзанна бодро толкнула дверь книжного магазина, и мы увидели маленького человечка с хитрым личиком, который торчал в центре темного, загроможденного сверх всякой меры зала. Эта жалкая лавчонка не имела ничего общего с огромным светлым магазином Жана-Пьера Рюдена, которого я, подражая тебе, называл сводным дядей от первого брака. Он дарил мне настоящие, «взрослые» шедевры, а я выпендривался и делал вид, что читаю их.

Услышав название, книжник вскипел от негодования:

— Но это же не книга! Не литература! Не позволяйте проклятому телевидению влиять на мальчика! Все нынешние детишки таковы. Нет-нет, малыш, сейчас я покажу тебе, что такое настоящая книга.

И тут я увидел, как моя бабушка меняется на глазах: она прерывисто задышала, ее лицо окаменело, взгляд застыл. Она двинулась на хозяина магазина, схватила его за воротник, оторвала от пола и принялась бить спиной о стеллажи.

— Мой внук сказал вам, какой подарок он хочет! — выкрикнула она. — И вы, жалкий недоучка, не имеете права ни критиковать этот выбор, ни оскорблять его, вам ясно?! Просто ответьте на вопрос! У вас есть эта книга?

— Да, да, конечно, — пролепетал бедняга, пытаясь уклониться от падающих с полок книг.

— Так назовите цену и заверните покрасивей!

И она резко отпустила его. Торговец шлепнулся на задницу, вскочил, ринулся к полке и вернулся с «Черными одеждами», изданными в серии «Красное и золотое», и пока волшебным образом успокоившаяся бабушка отсчитывала деньги, дрожащими руками соорудил худшую в своей жизни подарочную упаковку.

Я ошеломленно наблюдал за своей бабушкой, которая снова стала вежливой, сдержанной и разумной. Только налитые кровью глаза да прикушенная нижняя губа выдавали разыгравшуюся в ее душе бурю.

Она стояла с деньгами у кассы и вдруг взглянула на меня с отчаянием. Ее мучили угрызения совести, она боялась, что напугала меня, и ужасалась при мысли, что я все расскажу маме… А может, осознавала, что вновь поддалась безумию, но тогда я этого не понимал.

В тот день я впервые ощутил желание защитить другого человека. Этот рефлекс и сегодня — моя ахиллесова пята, он

срабатывает во мне чаще всех остальных. Я выпрямился во весь свой небольшой рост, смерил взглядом побелевшего продавца, который отсчитывал сдачу, бормоча какие-то любезности, и гаркнул ему в лицо дрожа от праведного гнева:

— И чтоб такого больше никогда не было, мерзавец вы этакий!

Он отодвинулся подальше от прилавка и кивнул, прикрыв грудь ладонями. Бабушка с благодарной улыбкой взяла меня за руку, и мы вышли как ни в чем не бывало.

На залитой солнцем улице Бюффа мы шли, чувствуя себя поборниками справедливости, рыцарями-крестоносцами, заключившими союз против всех невеж на свете, мы действовали сообща и были неуязвимы.

На следующем перекрестке она неожиданно остановилась.

— Скажи-ка, а книгу-то мы не забыли?

Мы оба сконфузились и втянули головы в плечи.

— Может, сходишь туда? — В тихом голосе Сюзанны снова прозвучала вся скорбь мира.

И я, рыцарь в сияющих доспехах, помчался исполнять повеление Прекрасной Дамы. Я хорохорился, но отчаянно трусил, и на подходе к магазину совсем скис. В зале никого не было. Я бесшумно подкрался к прилавку, увидел сверток с наспех упакованной книгой, схватил его и дал деру.

— Что он тебе сказал? — шепотом спросила бабушка, чуть не плача от отвращения к себе.

— «Извините, заходите еще», — без запинки солгал я, чтобы красиво завершить историю.

Бабушка почему-то перекрестилась, и мы пошли дальше. Дома я поставил «Черные одежды» на полку, даже не открыв, как охотничий трофей. Мы больше никогда не говорили с ней об этом происшествии.

Несколько месяцев спустя сосед нашел тело бабушки в подъезде ее дома, у лестницы. В первый момент я, к стыду своему, ничего не ощутил, кроме благодарности. Ее смерть позволила мне впервые переночевать под одной крышей с девочкой. Я был у Оливье Плона, мы праздновали день рождения его сестры Валентины — ей исполнилось десять лет, и их родители, тоже психоаналитики, узнав о случившемся, предложили мне остаться до утра. Последний дар непредсказуемой, но такой деликатной бабушки, сумевшей порадовать меня на прощание.

Я совсем не помню тебя на ее похоронах. Ты всегда прятался, когда было слишком больно. А я, как полный кретин, гордился траурной повязкой, обеспечившей мне уважение одноклассников

и снисходительность учителя.

С течением лет образ бабушки как-то слился с образом другой моей бабушки с материнской стороны: с ней у нас тоже были секреты, хоть и не такие страшные. Она понимала меня ничуть не хуже. Недавно я нашел «Черные одежды» в нашем савойском доме и наконец-то прочел книгу. Она и правда оказалась не ахти. Маленький томик в красно-золотой фотообложке с кадрами из сериала навсегда останется для меня напоминанием о вечной вдове с юной душой и пылким сердцем, которой ты посвятил голубую тетрадь.

«Моей матери…» — написано на форзаце твоим наклонным почерком, и меня так и тянет поднять за нее бокал.

Ты отыскал ее там, куда попал? Познакомился наконец с отцом?

Твоя загробная жизнь очень меня интересует, но из деликатности, из уважения к тебе я стараюсь не задаваться вопросами, которые в подобных обстоятельствах приходят в голову родственникам всех усопших. Внутренний голос подсказывает, что не стоит донимать тебя спиритическими сеансами. Какой смысл, если эта книга гораздо лучше восстанавливает между нами связь.

Наверняка у тебя в твоем новом жизненном измерении много работы, и нечего мне совать нос, куда не следует. Я не жду от тебя «посланий», если ты сам не спешишь мне их посылать. Точно так же вел себя ты, когда у меня наступил период полового созревания. Не давил, с вопросами не лез, доверял всецело… И всегда был открыт для общения.

— Если захочешь посоветоваться, не сомневайся… — так ты тогда говорил.

В твоих многоточиях наличествовала та самая терпеливая и участливая любовь, которую и я ощущаю к тебе со дня твоей смерти.

И все же ты подал мне кое-какие знаки, я не могу о них не сказать. Я уже рассказывал про песню Брассенса и малиновые трусы. Но не говорил, как ты «подмигнул» нам в день своего рождения.

На следующий после похорон день тебе стукнул бы девяносто один год, так что формально ты скончался в девяносто и не преминул бы пошутить, что умер молодым. Поминки вышли просто грандиозные. Отовсюду съехались твои друзья, старинные и совсем недавние — ты до самого конца обладал редким даром покорять людей с первого взгляда, вне зависимости от их возраста и пола.

Еще не все утерли слезы, а кто-то уже смеялся. Гости наперебой рассказывали о твоих розыгрышах, оплошностях, неукротимых приступах ярости и неуемных восторгах, травили анекдоты, дурачились. Я радовался атмосфере праздника: казалось, ты среди нас и сам принимаешь гостей.

Назавтра утром, в воскресенье 2 октября, мы собрались в идеально убранной квартире и решили, что так просто ты не отвертишься. Я отрезал кусок твоего любимого пирога, обыскал все ящики, нашел старый, времен моего детства, мешочек с дюжиной витых бело-голубых свечей, воткнул одну из них в пирог, зажег и поставил на обеденный стол, возле стула, на котором ты всегда сидел. Мы пели дрожащими голосами «*С днем рождения, тебя*» и вид имели самый что ни на есть дурацкий. А потом Франсуаза, единственная из моих женщин, которую ты хорошо знал и любил (перед «положением во гроб» она сунула тебе в карман пачку «Давидофф», зажигалку, шоколадку и три печенья) скомандовала: «Задувай!». Мы немножко подождали, но ты, естественно, ничего задувать не стал, пришлось мне, а остальные аплодировали, как полные идиоты. Я смахнул пальцем слезу со щеки и загасил фитиль.

Шагнув назад, я опрокинул огромную вазу с цветами — с тобой это частенько случалось! — и мы потратили некоторое время на уборку, после чего покинули столовую. Через десять минут я вернулся за мобильником, вернулся и застыл на месте: свеча снова зажглась.

Моей первой реакцией стала попытка найти рациональное объяснение. Я зажег на кухне девять остававшихся в мешочке свечей и тут же задул их, проверяя, что будет: вдруг в этих свечах газовые, самовозгорающиеся фитили. Ни одна не загорелась вновь. Это были нормальные, пропитанные обычным жиром веревочки. Та свеча, что горела в столовой, «умерла» естественной смертью: через двадцать минут обугленный кончик изогнулся вопросительным знаком и обратился в пепел.

Мне все стало понятно: мы решили общаться посредством юмора, и ты ответил на той же волне. Ты… или какая-то другая энергия, действующая противу всех известных законов физики и говорящая от твоего имени.

Мне *нет нужды* верить. Мне ни к чему *знать наверняка*, я удовлетворюсь простой вероятностью. Я не пробовал выйти с тобой на связь, хотя медиумы-посредники передавали мне весточки от тебя. Об этом я уже рассказывал. Да простят меня закоренелые рационалисты, но все, что я здесь излагаю, истинная правда — стал бы я выдумывать подобную чепуху, рискуя выставить себя на посмешище! Не верите, спросите у других. Я не

проповедник, не наркоман, я вообще не верю в наития и озарения, способные объяснить паранормальные явления. Но я не вправе замалчивать этот вопрос, хотя и не могу дать на него ответ.

Через полгода после твоей смерти я получил по почте кассету, вставил ее в диктофон и услышал: «Дидье, это я, твой отец». Голос на пленке то был еле слышен, то напоминал визг пилы, переходил от низких частот к самым высоким, называл имена, факты и детали, которые знал я один: даже тебе было известно далеко не все. Но *ты* ли говорил со мной? Подделка исключается, версия акустической иллюзии не выдерживает критики. Моник Симоне записала фразу на старенький магнитофон, когда сидела за столом у себя в кабинете и сосредоточенно думала о тебе. Она первой во Франции занялась инструментальной транскоммуникацией. Восьмидесятилетняя Моник получила тысячи сообщений для тысяч незнакомых ей людей; она посвятила этому делу всю жизнь, не требуя ни денег, ни славы, с единственной целью — облегчить горе живых и усопших, употребить свой талант «телефонистки» на благо разлученных смертью страдальцев. В своих многочисленных публикациях[23] Моник не пытается ничего доказывать, а только изучает тайну записанных слов, которые неожиданно возникают из других звуков, вроде шуршания целлофана, плеска воды или радиопередачи на иностранном языке в полной тишине… Интерпретация часто бывает очень субъективной, и тут нужен острый слух или богатое воображение, но по интонациям порой можно узнать покойного: в двух фразах я уловил знакомые обертоны.

Остается выяснить, *кто* именно передает энергию, оставляющую внятные следы на магнитных пленках… Материалисты из университета Торонто решили доказать, что мертвецы не имеют к этому никакого отношения, и провели эксперимент. Несколько человек мысленно сконцентрировались на одной фразе (а именно: «И Слово стало плотию»[24]) и смогли записать ее на работавший в соседней комнате магнитофон. Публикуя полученные результаты, ученые были уверены, что наносят мистикам смертельный удар, но спрашивается, что тогда считать современным материализмом? То, что наш мозг способен порождать звуки, материализующиеся на магнитофонной ленте, мне кажется куда более поразительным, чем все утверждения спиритов. Кстати сказать, почему бы не представить, что какой-то усопший — шутки ради или желая услужить — записал на пленку все, что жаждали услышать университетские исследователи?

Как бы там ни было, такой способ общения нам с тобой не

подходит. Я люблю алхимию письма, в которой есть и трезвый расчет, и голос подсознания, и мучительные пробы, и финальные озарения, люблю простодушные уловки, люблю долгий труд отделки, рождающий взрыв чувств, неуправляемый при всей его подготовленности. Тут мы с тобой заодно, тебя ведь тоже интересует литература, а не спиритизм. Истинная книга пишется не во имя веры, а во имя любви.

И все же… Когда Моник Симоне на кассете спрашивает, как ты себя чувствуешь сейчас, а трескучий голос ей отвечает, растягивая второе слово: «Могу та-а-анцевать», я задумываюсь. Задумываюсь и улыбаюсь. Такие вот пустячки для меня важнее научных доказательств, церковных догматов и проведенного по моей просьбе сравнительного анализа двух записей твоего голоса — прижизненной и той, что на кассете.[25]

Из всех «посмертных посланий», которые я прослушал с тех пор, как начал интересоваться этой проблемой, больше всего меня потрясло самое смешное. Умер муж Моник Симоне, убежденный скептик, месяц спустя семья собралась, чтобы почтить его память. Как это часто случается в доме Моник, в магнитофон была вставлена пустая кассета. Вечером Моник по привычке решила прослушать ее. Сначала зазвучали голоса братьев и сестер, жалующихся на ревматизм и возраст. Потом вдруг их стенания заглушил ясный и на удивление задорный голос, который они немедленно узнали: «А знаете, детки, здесь мне куда веселей, чем с вами!»

Я ужасно рад, что в лучшем мире ты снова танцуешь; здесь ты не всегда мог себе это позволить.

*

Прежде чем закончить эту главу, я должен рассказать о самом, на мой взгляд, поразительном событии, произошедшем еще при твоей жизни. Поразительном, но объяснимом и одновременно выходящем за рамки разумного, так что даже моя мать — она не слишком интересовалась иррациональным, ей хватало других забот! — была ошеломлена спектаклем, который ты разыграл перед нами однажды вечером, за аперитивом.

Ты доживал последние недели, знал это и не боялся.

— Не хочу превратиться в маразматика, — говорил ты, когда мы оставались наедине. — Предупреждаю: я либо поправлюсь, либо сведу счеты с жизнью. Надоело.

Я отвечал «Конечно, поправишься!» А что еще я мог сказать? Ты пожимал плечами. В твоем понимании «маразматик» — это

тот, кто уже не может просиживать часами над юридическими документами. В свои девяносто ты по-прежнему без конца консультировал собратьев-адвокатов, делясь с ними тонкостями аграрного права, тут ты был непревзойденным авторитетом. Ты принимал близко к сердцу и рвался разрешать любой конфликт, возникавший в жизни твоих друзей, поставщиков, даже водопроводчика, все их распри, тяжбы, разводы и незаконные обвинения… Кроме того, составлял десятки бумаг для процесса в апелляционном суде против савойских соседей, помогал Флоранс, дочери твоей приятельницы Клод, читая все ее работы, вел дела о социальном жилье для мэрии Вильфранша, где возглавлял Совет мудрецов (над этим титулом потешались все, кроме тебя).

Но теперь вся твоя энергия уходила на борьбу антител с метастазами. Когда накатывал очередной приступ бессилия, я присаживался на край кровати и пытался вернуть тебе силы доморощенными способами, вроде массажа, гипноза или рейки, знаменитой японской техники передачи энергии. В один из таких моментов, пытаясь передать тебе тепло своих рук, я задал вопрос, который мог показаться тебе странным:

— Что ты помнишь о Мельхиседеке?

Утром того дня моя приятельница Патрисия, приобщившая меня к рейки, сообщила о полученном во сне послании: я должен «выйти на Мельхиседека». Мы с Патрисией понятия не имели, кто он такой, а ты сходу ответил:

— Это царь Салима,[26] которому Авраам дал десятую часть того, что имел,[27] показав тем самым, что считает себя ниже него по положению и ставит выше всех остальных пророков, ведь именно к нему восходит таинство евхаристии. Но почему ты о нем спрашиваешь?

Я был ошарашен, что ты все это помнишь, хотя тут не было ничего удивительного. Тремя годами раньше, задолго до того, как у тебя обнаружили рак, ты решил «пополнить интеллектуальный багаж перед уходом». Во всяком случае, именно так ты не без доли лукавства объяснял, зачем выписал не только Библию и все апокрифические евангелия, но и Коран, и Талмуд, и Бардо Тодол,[28] чтобы *с опорой на текст* понять, на чем именно основываются различные концепции и философские определения Незримого. Ты трудился над этим, как истинный юрист, не стремясь выставить себя эрудитом или укрепить свою веру. Не было вопроса, который мог бы поставить тебя в тупик, ты превратился в самого большого знатока из знакомых христиан, иудаистов и мусульман и тыкал их носом в искажения смысла и отклонения от текста, из которых выросли антагонистические религиозные доктрины. Ты попросил, чтобы я свел тебя с кем-нибудь из знакомых буддистов — хотел

обсудить некоторые противоречивые места «Тибетской книги мертвых».

Мгновенно выданный точный ответ сразил меня наповал, но разговор дальше не пошел: ты отключился под лаской моих пальцев, тщетно пытавшихся освежить твой пылающий лоб.

Я решил проверить информацию по твоим источникам. В Ветхом Завете имя Мельхиседека упоминается трижды: в Книге Бытия, в 110-ом псалме Давида и в Послании к евреям апостола Павла. Этот царь-жрец вышел навстречу Аврааму и вынес ему хлеб и вино, предвосхитив обряд причастия.[29] В псалме Давида Яхве говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». А Павел пишет: «Это и царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда».[30] Примечание внизу страницы уточняет, что некоторые отцы церкви считают этого таинственного царя «мессией Ветхого Завета», тем, «кто изменил Закон», прообразом Иисуса.

Через два часа ты вынырнул из дремы и сейчас же потребовал аперитив и был на удивление бодр впервые за много месяцев. Сам, без палки добрался до кресла в гостиной, пригубил коктейль, приготовление которого ты отныне поручил маме — она увидела в этом дурной знак и роняла в шейкер лед, орошая его слезами. И внезапно, словно продолжая прерванный на полуслове разговор, ты произнес поразительный монолог, время от времени прищелкивая языком и меняя интонации, чередуя шутки с лирическими отступлениями. Именно так ты всю жизнь рассказывал мне разные истории, по этой манере я тосковал последние годы твоей жизни, с тех пор, как конфликт с савойскими соседями поверг тебя в черную меланхолию.

Я максимально точно воспроизвожу этот не фигурирующий в Библии эпизод, который ты сочинил прямо при нас, хотя могло показаться, будто он извлечен из глубин памяти или привиделся во сне.

— Однажды Авраам спросил Мельхиседека, как ему спасти свое стадо от голода. Мельхиседек посоветовал ему идти в Египет, где много пастбищ.

— Но что я стану делать, если египтяне схватят меня, когда я поведу свой скот на их пастбища?

— Прикинься простаком: скажи, будто не знал, что ты в их пределах, просто увидел свежую траву и повел туда овец, а они принялись щипать. Попроси прощения и добавь: это пастбище доселе не топтано, и разве не лучше удобрить землю, чем оставить траву сохнуть на корню? Потом веди свое стадо дальше. Будь учтив, хитроумен и уверен в своей правоте.

Мы смотрели на тебя во все глаза, а ты кинул в рот горсть кешью, быстро проглотил и продолжил:

— И Авраам пошел в Египет: он следовал советам Мельхиседека, и все шло хорошо, овцы благоденствовали и возносили хвалу Яхве. Но однажды Авраам ступил на земли фараона, и воины схватили его вместе с женой Сарой, заковали в цепи и привели ко двору. «Кто ты, чужеземец, и как осмелился пустить свое грязное стадо на мои луга? — Я Авраам, господин мой и повелитель. Овцы завели меня на твои земли. Мне следовало догадаться, что такая чудная трава может принадлежать только царю. Как мне вымолить у тебя прощение? — Кто эта прекрасная женщина, что стоит рядом с тобой? Она тебе жена?»

В этом месте твой рассказ слился с эпизодом из Книги Бытия, так что перехода легко было не заметить.

— Авраам вспомнил слова Мельхиседека и ответил: «Я ей брат, о великий Фараон». Он думал, ему сохранят жизнь из-за Сары и будут хорошо с ним обращаться ради нее. Учтивость, хитроумие, уверенность в себе. Изумительный коктейль, Поль Симона, разве что еще капельку вишневого ликера и самую малость Кампари.

Ты последний раз назвал маму обоими данными при крещении именами, что означало: ты в хорошем расположении духа и рад пообщаться. Больше тебе такой случай не представился. Ты поставил стакан, мы сели за стол, и ты почти сразу впал в состояние полной апатии. Нас это приводило в отчаяние, а тебе было все равно.

— Прошу тебя, Рене, не засыпай за едой! — молила Поль Симона.

На это непреднамеренное оскорбление ее кулинарного таланта — единственный способ самовыражения, который твоя властная натура никогда в ней не подавляла, — мама всегда реагировала болезненно, я втихаря доедал за тобой, пока она была на кухне, как делал ты, когда я был маленьким.

Ты отправился спать до десерта, не дав мне прокомментировать твою *парабиблейскую* легенду. Ты не отдавал себе отчета, какой удивительный трюк ты нам устроил. Может, ты был в трансе? Или в тебя вселился некий дух? Если бы ты не рассказал все это в своей обычной манере, с пафосом, уравновешенным иронией.

Но в чем заключался смысл рассказа, что нам следовало понять? Допустим, голодные овцы, чужое пастбище и учтивая ложь — это некий замысловатый шифр. Или довольно неожиданная для юриста аллегория, подразумевающая, что закон

порой противоречит природе и что, нарушив его, ты не навредишь ближнему, а наоборот поможешь. Древний закон не велит посягать на чужие пастбища, а Мельхиседек велит привести туда стадо, дабы не оскудела земля.

А может, ты намекал, что несмотря на все наши ухищрения, знаешь, что дни твои сочтены, и готов уйти из жизни добровольно, и я напрасно пытаюсь удержать тебя, лечить против твоей воли. Но если суть притчи в этом, все равно непонятно, одобряешь ты нас или осуждаешь.

Как только мама обрядила тебя на ночь в эластичные трусы, я ринулся к тебе и приступил к расспросам:

— Что это за история, папа? Ты сам ее придумал?

— Нет, она была… там… Я ее знал.

— Но откуда? Прочел где-нибудь?

— Не знаю. Вспомнил и все. Ладно, спокойной ночи.

В твоем усталом тоне сквозило раздражение, колебание и недоговоренность, что было так на тебя не похоже. Я не настаивал. Вся эта история так и осталась для меня загадкой, о которой на другой день ты даже не вспомнил. Мама же просто-напросто уклонилась от разговора на эту тему:

— Ты прав, история любопытная, но чего только я от него ни наслушалась. Ладно, мне пора в лабораторию за анализами, а ты не забудь дать ему железо и дрожжи.

Ты умер через семнадцать дней. Ни один из теологов, с которыми я потом консультировался, не вспомнил текста, в котором Мельхиседек посылал Авраама в Египет.

Не знаю, что и думать. *Учтив, хитроумен, уверен в себе.* Я не могу извлечь урок из этих слов, но помню, с какой детской радостью ты их произносил, и беру на вооружение.

Невыносимый, потерянный, отчаявшийся. Таким ты был в 1982 году. Полная противоположность тому, что двадцать три года спустя Мельхиседек советовал Аврааму твоими устами.

Роковая случайность — моя первая публикация в издательстве «Сей» совпала по времени с твоим уходом на пенсию. Я осуществил мечту твоей жизни, а ты, проведя полвека в суде, сложил оружие. Серьезная веха для человека, свято верившего, что он повторит судьбу отца и не доживет до тридцати. Но ты воспринял это как победу старости, спасовал, не желая справляться с административными, финансовыми и моральными сложностями, разрушающими профессию адвоката. Словом, отчаялся.

Ты во всеуслышание заявлял, что найдешь, чем заняться и помимо работы, что юные коллеги передерутся за твою клиентуру, но не нашел ни преемника, ни других дел, кроме как перебирать тонны архивов. Ты оказался наивен, как дитя.

Осенним днем я нанял грузовичок, и мы поехали в Сен-Поль-де-Ванс, чтобы сжечь в саду моего дяди папки с никому не нужными документами. Огонь не разгорался, ты злился на суетившегося с граблями шурина, отталкивал его жену, предлагавшую тебе освежиться оранжадом, и обзывал меня ослом и неумехой за то, что я не мог раздуть мехами угли. Ты был невыносим.

Твоя жена, кстати, осталась дома, хоть и помогла с погрузкой документов. «Не хочу вам мешать», — заявила она. И правильно сделала. Пламя гасло, слишком плотная бумага едва тлела; заключительные речи, протоколы и экспертизы окуривали нас, но куча папок не уменьшалась, пошел дождь, начало темнеть, денатурата было не достать во всей деревне, а ты мог подхватить простуду. «Юридическое барбекю», замышленное как праздничный костер, грозило обернуться крахом.

А потом налетел ветер, и пламя поглотило пятьдесят лет твоей жизни. «Наконец-то!» — воскликнул ты. Мистраль прибивал дым к земле, глаза у тебя покраснели, улыбка на серых от пепла губах напоминала оскал пиромана. Я хотел попросить тебя не плакать и не особенно веселиться, глядя, как разлетаются искрами из костра твои воспоминания. Я пытался и не мог найти нужных слов и убедить тебя, что это не аутодафе.

С каждой папкой пламя пожирало частичку тебя самого. С каждой папкой ты вновь переживал свои радости, сомнения, мировые соглашения, полузабытые победы, болезненные

поражения. Как большинство людей, ты прошел в своей жизни через все: знавал и нужду, и удачу, и славу, и неблагодарность, и удары судьбы. И конечно, искушения.

В начале 50-х один твой старый клиент, крестьянин из долины Вара, умолил тебя спасти его дочь, которая по недоразумению оказалась в тюрьме. Малышка Мирей, которую ты качал на коленях, была арестована за приставание к мужчинам на улице, а ведь бедняжка, по словам отца, всего лишь предлагала прохожим клубнику. В действительности, как ты выяснил, девушка уже два года была официально зарегистрирована в Ницце как проститутка. Ты все уладил с комиссаром, поскольку задержавший Мирей полицейский был не при исполнении и арестовал ее не за торговлю телом, а за отказ предоставить его бесплатно. Ты прочел Мирей нотацию, и девица, естественно, поклялась здоровьем отца, что больше «ни-ни», что она все осознала и вообще главное — семья.

Три дня спустя в кабинет вошла твоя секретарша, поджав губы и сморщив нос.

— Мэтр, вас там спрашивают, — неодобрительно и с укоризной сообщила она.

— Что за люди?

— Сами увидите.

Перед тобой предстал мужчина в сером костюме в тонкую черно-лиловую полоску, компанию ему составляли две блондинки в обтягивающих платьях с глубокими декольте и на высоченных шпильках. Мужчина поблагодарил за то, как умело и деликатно ты уладил проблему с Мирей, и заявил, что будет счастлив поручить тебе ведение всех своих дел — на твоих условиях. И тут же выложил перед тобой на стол незаполненный чек.

Тебя раздирали сомнения. Репутация потенциального клиента была тебе известна. Ты знал, что он делает самые щедрые пожертвования городским больницам, а также контролирует всю сеть проституции и, по слухам, большинство казино и ночных клубов Лазурного берега. Твоих гонораров тогда едва хватало, чтобы прокормить семью: клиенты-крестьяне расплачивались овощами и фруктами, а первая жена как раз затеяла ремонт. «Несколько секунд я все же поколебался!» — признался ты однажды, хихикая. И все же не стал продавать свою душу дьяволу, не поддался искушению и отодвинул от себя чек. Твой собеседник его не забрал, и ты порвал заветную бумажку.

— Не решайте так сразу, подумайте, — улыбнулся на прощание «полосатик».

Через двадцать секунд мадам Вандром пришла за забытыми в

кабинете девицами. Покровитель Мирей согласился с твоим выбором и больше тебя не беспокоил. Ты никогда не хвастался своим отказом, но предпочел впредь держаться подальше от одного своего коллеги, вполне уважаемого адвоката, который предложение принял и ничуть об этом не жалел.

Вторым искушением была работа в суде присяжных. Преступления посолидней, внимания прессы побольше. На моей памяти ты единственный раз участвовал в процессе по делу об убийстве: выступал адвокатом истца, защищая интересы давней знакомой. Гомофоб-некрофил, который убил ее сына, расчленил тело и разложил по мешкам для мусора, оказался человеком со связями и нанял одного из лучших парижских адвокатов. Тот появился в зале суда с опозданием, раскрасневшийся и всклокоченный, а защиту построил на безупречном алиби клиента на предполагаемый момент преступления. Перед тобой стояла нелегкая задача. Когда пришел твой черед, ты сделал виноватое лицо, как у Лино Вентуры, и заговорил голосом Жана Габена из фильма «Президент».

— Уважаемые дамы и господа! Надеюсь, мой досточтимый парижский собрат — судя по всему, он пожаловал к нам прямо из-за стола — извинит меня за то, что сейчас воспоследует.

И ты рассказал блестящую сагу, обратившись к жизни червей: описал их нравы, способ размножения и систему подсчета смены поколений, позволяющую судебным медикам точно устанавливать время смерти, если только пополнение рядов не нарушается фактором холода. Ты опроверг выводы патологоанатома, доказал, что убийство было преднамеренным и части трупа хранились в холодильнике. Я ловил каждое твое слово. Ода личинкам мясной мухи, этим доблестным помощницам правосудия, звучала восхитительно, как поэзия Лотреамона.[31] В семнадцать лет я переживал мерзкий период, восторгался мрачным лиризмом «Песен Мальдорора» и теперь восхищался тобой, как никогда прежде: мне казалось, что ты выступаешь исключительно для меня одного.

Уважаемый парижский собрат из последних сил боролся с дурнотой и тщетно протестовал против нарушения судебной процедуры, после чего отправился в аэропорт, ни с кем не простясь. Убийца-маньяк был приговорен к смертной казни и не попал на пир к червям только потому, что был помилован президентом. Пресса широко освещала твою «червивую» победу над самым раскрученным адвокатом Франции, а ты получил множество заманчивых предложений, но не захотел блистать в суде присяжных, несмотря на яркий артистический талант и умение играть на публику. Ты ненавидел саму идею суда

присяжных, подменивших профессиональное судопроизводство. И тебе казалось отвратительным, что ты должен *понравиться*, чтобы выиграть дело. Ты брался за уголовное дело, только если оно касалось кого-то из твоих давних клиентов. Не желал делать карьеру «на костях» убийц или их жертв. Ты хотел видеть свое имя только в колонке театральных рецензий «Ревю дю Пале». Других вырезок я в твоем альбоме не нашел.

Не прельщала тебя и работа со знаменитостями. Когда внук Ренуара поручил тебе защищать его интересы, ты выиграл процесс против знаменитого эксперта-искусствоведа, но тебя бесили светские пересуды, фальшивые улыбки и слишком гибкая мораль торговцев картинами. Ты передал клиента моему брату Тьери, и его победы стали для тебя лучшей наградой.

Профессиональная добросовестность для тебя была важней любых амбиций. Ты любил сложные дела, но предпочитал защищать простых людей — водителей автобусов, крестьян и рыбаков, являвшихся в приемную со своей клубникой, цыплятами или свежевыловленной дорадой, а если вдруг какой-нибудь президент компании или богатый наследник выражал недовольство таким соседством, ему предлагалось поискать другую контору, почище и пошикарнее.

В работе ты не самолюбие тешил, но исполнял долг, а чем действительно гордился, так это успехами детей. Когда консалтинговое агентство Клода исправляло ошибки руководства крупного предприятия, ты распускал хвост, как павлин. Всякий раз, когда ядерный физик Катрин отправлялась инспектировать полигон в Бурже, ты места себе не находил от беспокойства. Ты почивал на лаврах Тьери, когда тот выигрывал процесс. Успех моих книг был в первую очередь твоим — и кто бы тебя за это осудил? Неудачи и провалы мы старались от тебя скрывать, что получалось далеко не всегда, но ты не подавал вида и переживал за нас молча.

*

С наступлением темноты количество перевязанных бечевками папок уменьшилось, и дело всей твоей жизни развеялось, как дым. Мы граблями сгребали в костер последние разводы, тяжбы арендаторов, протесты профсоюзов, склоки соседей, груды спасенных жизней и присвоенного имущества. Огонь уравнял воспоминания и химеры, обратив их в единую гору пепла. Тебя удалили с поля, а я выходил на площадку. Ты был счастлив видеть мою книгу на прилавках и наше имя на страницах газет, и

все же ощутил, сам того не понимая, болезненный укол, и детские мечты, от которых тебе пришлось отказаться, ожили в последний раз.

В 1993 году я описал эту сцену, в романе «Шейенн», слегка ее приукрасив: «Он смеялся — как всегда, — чтобы никто ничего не заметил. Но я чувствовал, что у наших ног догорают его мечты о военно-морском флоте, театре и литературе, его бесконечные уступки, без которых, возможно, он не стал бы светлым и веселым человеком. Жизнь отняла у него слишком много, потому он и не захотел ничего сохранить для себя».

На самом-то деле ты вовсе не смеялся. Тетя Сюзи и дядя Андре никогда не видели тебя таким. Вы не всегда и не во всем сходились, но им нравились твоя неуемная энергия, вечное комедиантство, оптимизм и умение скрывать страдания от окружающих. В тот день ты выставлял свою боль напоказ. Не владел собой, был подавлен и зол. Они тебя не узнавали. Их дом, где вы так увлеченно репетировали спектакли «Лайонс Клуба» в костюмах Первой Империи, Персеполиса[32] или «Безумных двадцатых»,[33] стал для тебя олицетворением аутодафе. Сюзи и Андре ни в чем не были виноваты, они всего лишь предложили место для погребального костра, денатурат, спички, грабли и помощь.

Ты не мог простить им, что они стали свидетелями единственного момента нашей жизни, когда я видел *тебя не в форме*, и меня это ужасно огорчало. Но срок давности истек, и сегодня дядя с тетей тоже на пенсии.

*

Мы сожгли твои архивы, и я вернулся в Париж. Телепередачи, договоры, сценарии… Ты хотел быть в курсе всего и звонил мне каждый вечер, расспрашивал о графике, встречах, контактах, проектах, переговорах и грядущих поездках. Некоторое время спустя я узнал, что ты заносил мое расписание в старый ежедневник. *12.30: обед с Фредериком Даром, 17.00: фотосъемка для «Экспресс», 20.30: программа «Апострофы» (грим)*. Ты жил за мной по пятам. Или в ногу. Словом, растворился во мне.

Ты не желал мириться с вынужденным бездельем и все время подыскивал себе занятия — устраивал заплывы в море, играл в теннис, катался на лыжах, а все остальное время проводил в видеолаборатории, которую, к ужасу жены, оборудовал рядом с кухней, в чулане, между шкафом и морозильником. Обмотавшись проводами видеомагнитофонов, ты записывал с телевизора все

мои выступления, копировал их, а потом монтировал полный вариант интервью, вырезая ведущего и других участников, после чего наговаривал на магнитофон исчезнувшие при монтаже вопросы и комментарии. Порой ты так увлекался, что случайно стирал мой голос и дублировал меня, стараясь в точности воспроизвести интонацию. Впрочем, это напоминало скорее чревовещание, чем дубляж. Ты подменял мою жизнь своими мечтами, вкладывал свой текст в мои уста.

«Видеоинженером» ты был неопытным, но старательным, поэтому приезжая на выходные домой, я чаще всего заставал тебя за переделкой отснятого материала. Я целовал тебя в лоб, а ты, едва взглянув, возвращался к экрану, где среди помех и полос проступало мое лицо.

— Сын хочет с тобой поздороваться, — раздражалась мама.

— Погоди, я его «пересаживаю», так что не торопи меня.

Мне нравилось это словечко, уместное скорее в устах садовода, чем видеоинженера, но временами сердце у меня сжималось от жалости. Отказавшись от своего призвания еще в детстве, ты примерял мой публичный образ на себя. Ты хотел все знать о моих планах, но я больше не слышал от тебя никаких историй: ты считал, что уже рассказал все самое интересное. Я жил и взрослел, словно плющ, обвивающийся вокруг могучего дуба. Теперь мы поменялись ролями — я стал твоим опекуном.

А потом случилось невообразимое: пробездельничав десять лет на пенсии, ты вернулся в профессию. Твоя старинная знакомая-адвокат оказалась в безвыходной ситуации: против ее компаньона Жоэля было выдвинуто обвинение, и он был отстранен от дел. Одна она не справлялась и умоляла тебя о помощи. Ты согласился, не раздумывая. Выключил все видеомагнитофоны, положил меня «на полку», достал из чулана портфель и отправился в контору.

Так начался, по моему мнению, лучший период твоей жизни. Жоэль, один из самых известных адвокатов страны, местный депутат, либерал и ярый противник всяких компромиссов, оказался в тюрьме по доносу, в результате искусной провокации — совсем как ты после войны, когда кучка коллаборационистов попыталась реабилитироваться за твой счет. Моралисты, правые и левые политики и оппортунисты всей мастей набросились на него, друзья предпочли отстраниться — мол, дыма без огня не бывает, а Дисциплинарный совет наложил временный запрет на адвокатскую практику.

На свидание к нему тебя не пустили, ты ведь уже был пенсионером, а не практикующим адвокатом.

Жоэль провел в предварительном заключении шесть недель,

заработал нервный срыв, а выйдя, нашел тебя прочно обосновавшимся в своем кабинете. Ты вел все его дела, принимал клиентов, составлял заключения, готовил речи для суда и громогласно, на всю Ниццу, утверждал, что он ни в чем не виноват, а чиновников, которые не верили, вообще перестал замечать. В 1945-м за тебя точно так же вступился Эдмон Набиас. С нами ты никогда об этом не говорил — я перерыл все архивы и только тогда узнал, с какой извращенной изобретательностью гнусные негодяи-коллаборационисты пытались замарать твое имя. Ты по доброй воле разбередил свою рану, чтобы излечить чужую. Значит, твои страдания были не напрасны и помогли твоему другу пережить едва не убившее тебя испытание.

Я попросил у Жоэля дозволения описать этот трагичный эпизод его жизни, и он сразу согласился.

— Я ощущал поддержку Рене ежесекундно, ежечасно, он был, как скала. Рене рядом — значит, все будет хорошо. Благодаря ему я снова поверил в себя, он примирил меня с ремеслом и собратьями по цеху. Мы вместе разрабатывали хитроумнейшую стратегию ведения дел моих клиентов, ведь он был юристом от Бога, а работоспособностью превосходил всех адвокатов на свете вместе взятых. А еще нам было весело. Он умел рассмешить меня несмотря ни на что. Когда Рене был рядом, случившееся не имело значения, казалось дурным сном. Рене был воплощением реальности, настоящей жизни.

Польза была обоюдная: ты восстанавливался сам, помогая Жоэлю выкарабкаться. Ты понял, что в свои восемьдесят не растерял ни профессиональных навыков, ни авторитета, и снова обрел вкус к жизни. Ты чувствовал себя полезным, нужным, жизненно необходимым. Истинное великодушие всегда подпитывается эгоистической восторженностью — иначе оно оборачивается самоотречением, а это куда менее действенно.

— Не проходит и дня, чтобы мы не вспомнили о нем, — продолжал Жоэль. — «А что бы на это сказал Рене? А как бы он поступил?» Мы вспоминаем его с улыбкой и с уважением, но без грусти. Невозможно грустить, говоря о нем, это противоестественно.

Жоэля тоже реабилитировали, на пятьдесят лет позже, чем тебя. Справедливость непременно торжествует, если хоть кто-то в вас верит. Почувствовав, что Жоэль справился, ты собрал вещички и освободил кабинет. Сказал ему, что в твоем присутствии больше нет необходимости. Жоэль и все остальные дружно запротестовали, и ты еще пять лет «прогуливал» пенсию, работая за четверых в окружении хорошеньких секретарш и жадно внимавших твоим советам стажеров.

Ты выиграл несколько безнадежных дел, заплатив за победу бессонными ночами, после чего вторично решил уйти на покой и посвятить все время семье и видеозаписывающей лаборатории. На сей раз все прошло как по маслу, но, к великому неудовольствию моей матери, ты продолжал загромождать обеденный стол папками. Делая вид, что ушел от активной жизни, ты всего лишь не вставал в семь утра, не клал в портфель завтрак и не садился в автобус, в остальном ничего не изменилось.

На поминках каждый хотел поделиться особо запомнившейся историей из твоей жизни, и мы с братьями и наша сестра были совершенно потрясены рассказом Жоэля. От тебя мы никогда об этом не слышали. Профессиональная этика — понятие святое. А уж дружба — тем более.

Ты много чем одарил меня в жизни, и одним из драгоценнейших подарков стали твои друзья. Удивляться тут нечему, ведь мы с тобой стали единым целым, преодолели пропасть между поколениями, и твои друзья стали моими. Вы считали верность, чувство долга, отвагу и умение мечтать главными ценностями, и я перенял это от тебя.

Первым место в моем сердце занял человек, которого ты выбрал мне в крестные: Анри Гафье. Когда я стал частью его жизни, он выглядел как Граучо Маркс[34] в последние годы жизни. Вечная сигара в углу рта, аккуратно подстриженные усы, смесь сдержанной элегантности и вежливого высокомерия — облик Анри вызывал раболепное уважение у льстецов и мгновенную симпатию у художников. Он был знаменитым на весь мир экспертом в области живописи, опытным галеристом, советником по культуре у Ага Хана и Ренье III, дружил с Утрилло, Матиссом, Вламинком, Ван Донгеном и Дюфи.[35] Анри было одинаково комфортно при дворе, среди венценосных особ, и в «клетке с хищниками» — так брезгливо критик Луи Воксель отозвался о кричащих ядовитых красках на картинах, выставленных на осеннем Салоне 1905 года. Вламинк со товарищи ухватился за эту метафору, дав название своей группе.[36] Фовисты были страстью Анри, его второй семьей. Мне было лет восемь или девять, когда он то и дело лукаво бросал мне что-то вроде:

— А скажи-ка, любитель слов, знаешь ли ты, кто такой настоящий галерист? Собрат по рабству на галере.

Благодаря дружбе с художниками, чутью и психологии царедворца, он составил себе приличное состояние, чего совершенно не скрывал. В Болье-сюр-Мер у Анри был огромный, выстроенный в 1900 году дом с колоннадами и статуями, носивший чудесное название «Аллегрия». Там выпивали, стоя между Матиссом и Дега, ужинали перед Ренуаром, играли в карты в компании четырех Вламинков и справляли нужду на глазах Дюфи, что взирал на вас со своего знаменитого автопортрета, написанного им в 1897 году, в семнадцать лет.

Абсолютная беспечность этого человека, жившего в сокровищнице и не включавшего сигнализацию, потому что мигающие лампочки его раздражали, навсегда отбила у меня охоту посещать музеи. Дом крестного не был тюрьмой для шедевров: их можно было трогать, гладить и «ласкать мазки», как тогда говорили. Однажды я случайно испачкал шоколадно-

земляничным мороженым купальщицу Матисса, Анри вытер холст указательным пальцем, облизнул его, задумчиво взглянул на мой вафельный рожок, и, вместо того чтобы отругать меня, произнес самым что ни на есть будничным тоном:

— Впредь — только лимонный сорбет.

Он с давних пор был женат на Пегги, крошечной женщине с неистовым темпераментом и острым чувством юмора, которая говорила за двоих и ела за троих. Увидев, что муж заскучал на светском ужине, она кричала через весь стол:

— Анри, сматываем!

Эта в меру безумная цыганка сама шила свои туалеты и мастерила шляпки. Однажды она весьма своеобразно утешила жену монакского министра и мою мать, которые одевались у одного кутюрье и оказались на приеме в одинаковых нарядах:

— Мне это точно не грозит, — сказала она.

В 1970 году чета Гафье покинула «Аллегрию»: как оказалось, под домом находилось подземное озеро, и он начал оседать, в стенах появлялись трещины, и картины срывались с крюков. Анри сначала сдал «Аллегрию» съемочной группе Жюля Дассена, который снимал фильм «Обещание на рассвете» по книге Ромена Гари, а потом продал его пенсионному фонду.

Я оплакивал «Аллегрию», как любимую женщину, тосковал по ее стенам и воскрешал дом почти во всех своих романах. В Вильфранше, прямо над портом, Анри выстроил из розового мрамора ее сестру-двойняшку, «Эргеллу». Эта вилла нравилась мне куда меньше, но Пегги и Анри жили там мирно и спокойно… по крайней мере, до нападения бандитов с автоматами.

Целых пятнадцать минут налетчики поливали бронированные окна огнем из автоматов, пытаясь проникнуть в дом, а осажденные старики спешно снимали со стен Дега, Модильяни и прочих и сносили их в комнату-тайник, готовые умереть там от удушья среди своих сокровищ.

Но стекла фирмы «Секюрит» выдержали обстрел, и грабители скрылись, услышав вой полицейских сирен. Анри не стал заделывать выбоины на фасаде и с гордостью демонстрировал их посетителям, как полученные на поле боя раны.

— Картины должны находиться в семье, среди людей, как при жизни их создателей, — сказал он журналисту из «Нис-Матен», потрясенному легкомыслием коллекционера, вернувшего сокровища на место, даже не застраховав их. — Страх — плохой советчик, мои картины защищают меня от всего.

От всего, но не от Чернобыля. В 1987 году, после того как на Лазурный берег пролился дождь из радиоактивного облака и в пряных травах, тимьяне и майоране, начали скапливаться

радионуклиды, у обоих братьев Гафье обнаружили рак щитовидной железы. Брат Анри прошел курс лучевой терапии, сжег голосовые связки, но все еще жив и скоро отпразднует столетие.

Анри тогда больше занимала покупка очередного Ренуара, препирательства с экспертами и растаможка, а потому он по-быстрому сделал операцию, но лечение до конца не довел и через несколько недель умер, отказавшись от покупки и проклиная себя за это.

Дочь Анри Марион передала мне его последние слова:

— Нет, я должен был его купить! Вот кретин!

*

Вы познакомились в начале 50-х, на свадьбе принца Али Хана и Риты Хэйуорт,[37] где Анри был свидетелем. Ты чуждался высшего света и всегда насмехался над венценосными особами и разряженными ослами из окружения Анри, но был покорен могучим интеллектом, который он поставил на службу своим страстям.

В этом смысле его отношения с сыном Ага Хана приводили тебя в восторг. Анри и Али Хан больше всего на свете любили живопись и американские автомобили. Они заключили следующий договор: в январе принц покупает новый лимузин, ездит на нем полгода и передает Анри в обмен на три или четыре картины, в зависимости от объема двигателя. Вообще-то Анри терпеть не мог огромные машины нуворишей, но не подавал вида, чтобы сбывать Али каждой весной в обмен на «кадиллак», «бьюик» или «линкольн» картины молодых художников: пройдя через коллекцию принца, они резко поднимались в цене.

Мой крестный видел в американских тачках один-единственный плюс: большой багажник. Раз в год он ездил в Нормандию к Вламинкам, загрузив в машину с десяток пармских окороков, а назад вез не меньше сорока картин. Ты тоже обожал Вламинка и доставал для него ветчину.

Хоть ты и жил на другом конце Франции, но обожал слушать рассказы о долгих застольях в Рюей-ла-Гадельер. Рыжеволосый фламандский исполин и две его дочери-великанши напоминали тебе о твоих корнях, пробуждали зависть и тоску по этим колоритнейшим персонажам, которым на обед подавали беарнский суп с капустой и гусиным мясом, а потом говядину с овощами, а потом кофе и рюмочку коньяка, а потом бывший велогонщик брал скрипку и аккомпанировал игравшим на тубах

наследницам — они считали, что именно этот инструмент идеально соответствует их габаритам.

Наконец наступал момент, когда Морис де Вламинк откладывал смычок, отталкивал стул, откидывал со лба огненную прядь и обрывал веселье словами:

— Ну что, Гафье, не хочешь взглянуть на мою мазню?

Анри с трудом скрывал облегчение: чревоугодием он не отличался, в еде знал чувство меры и симулировал пантагрюэлевский аппетит только ради хозяина. Стараясь твердо держаться на ногах, он следовал за Морисом в мастерскую, забитую мощными, яркими работами.

— Ну что, Гафье, которую хочешь?

— Все.

— Нет, папа, ты не имеешь права! — кричали Эдвига и Годелива, повиснув на отце. — Не продавай их, мы не хотим!

— Иди поиграй, — шептал Анри Вламинку, протягивая ему ключи от «кадиллака», «бьюика» или «линкольна».

Радуясь, как ребенок, фовист садился за руль американской машины и принимался за любимую игру: поднимал капот, опускал стекла, включал проигрыватель и едва удерживался от искушения снять приборную доску, ведь в послевоенной Франции никто и мечтать не мог о таком электрическом чуде. Все это время Анри проявлял чудеса дипломатии, чтобы стражницы храма искусства согласились расстаться с отцовскими полотнами.

— Да не нужны нам деньги, в этой дыре их и потратить-то не на что!

— Не волнуйтесь, — уговаривал он, выкладывая из портфеля пачки купюр, — моя цена гораздо выше рыночной, и даже если картины подорожают, вы всегда сможете выкупить их обратно.

— Плевать мы хотели на ваши цены!

— Но, если вы хотите, чтобы отец продолжал писать, нужно освободить ему место в мастерской.

Вот этот аргумент обычно в конце концов срабатывал. Анри запивал сент-эмильон кофе и отправлялся в обратный путь на сильно потрепанной живописцем машине: капот не закрывался, стекла не поднимались, пластинка не желала вылезать из проигрывателя.

По дороге домой крестный забирал на Монмартре Мориса Утрилло. Не такой «прожорливый», как «кадиллак», «бьюик» или «линкольн», он все же выпивал три литра каждые сто километров: на всех заправках в машину загружали ящик с бутылками.

Я держу на письменном столе фотографию, которая раскрывает секреты искусства лучше любой монографии. Анри стоит вполоборота в номере отеля «Плаза Ницца» и подает кисти

Утрилло, который, не выпуская изо рта сигареты, пишет фасад этой самой гостиницы.

*

Живопись была не только вашей общей страстью, но и яблоком раздора. По воскресеньям ты писал акварели, на которые Анри даже смотреть не желал, ты в отместку не купил у него ни одной картины.

— Ну что ты за упрямец! — сердился Анри. — Я ведь знаю, многие полотна тебе нравятся.

— Пусть лучше висят у тебя, будет лишний повод заехать, — отговаривался ты и добавлял, как бы между прочим: — Представляешь, Рюден подарил Дидье первое издание Жионо!

Именно твой бывший шурин Жан-Пьер Рюден познакомил тебя с Анри в своем книжном магазине на авеню Феликса Фора. Ко дню первого причастия я получил в подарок авторскую литографию Рауля Дюфи, сто шестнадцатую из ста пятидесяти, с изображением букета анемонов и посвящением Пегги Гафье.

В порыве щедрости Анри и тебе подарил одно очень ценное полотно фламандской школы, ведь ты выиграл для него немало процессов, а денег не брал. Эта картина до сих пор волнует меня, хотя что там особенного — петух и две курицы прячутся с цыплятами от грозы в чаще леса. Но холст потемнел от времени, пыли, копоти, осевшей на него, и от этого кажется еще загадочней. А в центре композиции еще и мы с отцом оставили неизгладимый след.

Одним весенним утром 1968 года я не пошел в школу из-за всем известных событий и задумал поставить в столовой эксперимент: может ли мой пистолет «Эврика» стрелять обычным цветным карандашом вместо надоевшей стрелки с присоской на конце. Случилось непоправимое. Выстрел, роковое *«бенц!»*, и остро отточенный грифель карандаша вонзился в центр фламандского полотна. Я аккуратненько вытащил орудие преступления и в полной растерянности стал ждать твоего возвращения. Мне всегда было легче покаяться в своих преступлениях тебе, и ты приходил мне на помощь — только бы не заметила мама. Но то, что я натворил сегодня, было нечто из ряда вон выходящее.

— Вот черт… — присвистнул ты.

— Это просто цветной карандаш, — промямлил я, намекая, что все могло быть гораздо хуже, окажись на месте карандаша ручка с чернилами.

— И, как назло, Анри придет сегодня ужинать. Ладно, отвлеки маму, я что-нибудь придумаю.

Переложив ответственность на тебя, я отправился помогать маме на кухне. Ты долго что-то искал в ванной, потом в моей комнате. Вернувшись в столовую, чтобы накрыть на стол, я испытал самый настоящий шок. Сморщив нос и слегка высунув от усердия язык, ты легкими точными мазками наносил ярко-зеленую краску на кусочек пластыря, налепленный поверх дырочки.

— Он ничего не заметит, — уверенно заявил ты, возвращая мне тюбик гуаши: вид у тебя был ужасно гордый — как у нашкодившего хулигана.

На всякий случай я поставил прибор крестного так, чтобы он сидел спиной к картине. Анри вошел, взглянул и слегка повел бровью — вот и вся реакция.

Впоследствии я не раз слышал, как на приемах в саду в «Аллегрии» он представлял тебя друзьям-художникам:

— Мой друг Рене, великий реставратор из мастерских Лувра.

— К вашим услугам, — кланялся ты, пожимая руки.

*

Анри торговал искусством, поэтому в восемь лет я признался ему в намерении стать писателем. Я считал твое самоубийство неизбежным и хотел подготовить его к роли крестного. Мы ехали в его «роллс-ройсе» — с виду обычный «пежо 403», но посвященные знали, что начинен он деталями от «силвер шэдоу», а салон — от роскошного «ванден-пласса». Анри внимательно посмотрел на мое отражение в зеркале, подумал, пока горел красный свет, и наконец произнес своим низким глубоким голосом:

— Писателем, конечно, быть лучше, чем художником, не надо тратиться на материал. Но есть и отрицательная сторона: галерист берет пятьдесят процентов с продаж, а издатель будет оставлять тебе в лучшем случае десять. Ты твердо решил?

Упираясь локтями на откидной столик орехового дерева, прикрепленный к стенке переднего сиденья, я кивнул. Отступать было поздно: я уже написал пятьдесят восемь страниц и совсем не умел рисовать.

— Ладно, тогда надо попасть на телевидение. Галстук наденешь мой, — заключил Анри.

Анри уже ничем не мог меня удивить. За десять дней до этого разговора он запросто, как с соседкой, познакомил меня с

принцессой Грейс.

Мы приехали к Анри, он повел меня в гардеробную, выбрал расписанный Утрилло синий галстук в желтых пальмах, накинул его мне на шею поверх моей клетчатой рубашки из магазина «Монопри» и научил завязывать узел. Потом мы спустились в огромную, переделанную под киностудию гостиную, где он усадил меня на фоне Ренуара, а сам встал за камеру. Я обалдел, увидев свое лицо на экране телевизора. Анри, страстный любитель технических новинок, привез с нью-йоркской выставки один из первых видеомагнитофонов и теперь устроил мне интервью в манере Жака Шанселя.

— Угадай, что мы сотворили с твоим сыном? — зычным голосом произнес он, привезя меня вечером в твою контору в Старой Ницце.

Не думаю, что ты ревновал к Анри, но в следующие несколько месяцев из кожи вон лез, чтобы достать видеомагнитофон, за что я был тебе бесконечно благодарен, потому что мама не давала нам купить телевизор из страха, что я отупею. Так что я «тупел» у ее родителей перед *«Континентл Эдисон»*. Он едва не взорвался, когда ты подключил к нему с помощью двадцатиметровых кабелей и удлинителей огромный видеоцентр. Посол Гереро прислал его тебе с дипломатической почтой, включить его так и не удалось.

Тесть обожал, когда ты начинал колдовать с техникой, хотя в квартире случался жуткий кавардак. Он надевал рабочий синий халат, оставшийся от времен, когда он работал наборщиком в типографии «Нис-Матен», садился на стул и, скрестив руки на груди, наблюдал за тобой. Твои манипуляции развлекали дедулю куда лучше телевизора. А вот зацикленная на чистоте бабуля (она всегда вылизывала квартиру перед приходом домработницы, чтобы «никто ничего потом не мог сказать») теряла покой и сон. Кончилось все тем, что их телевизор приказал долго жить.

Год спустя ты совершил сразу два подвига: уговорил жену поставить в гостиной телевизор (под тем предлогом, что по четвергам идет сериал «Проклятые короли», а ребенка надо приобщать к истории Франции) и, промучившись две недели, получил-таки наше изображение на экране, после чего пригласил Анри, чтобы тот оценил пародию на Леона Зитрона, берущего интервью у Шабан Дельмаса, которую состряпали мы с тобой.

Анри посмотрел, рассеянно похвалил и сообщил, что вернулся из Токио, где обменял рисунок Дюфи на один из первых персональных компьютеров — «принцесса Грейс была в восторге!». Он хотел немедленно продемонстрировать нам превосходство компьютера над безнадежно устаревшим

видеомагнитофоном.

— Твой крестный — славный малый, только не забывай, что он еще и сноб, — брюзжал ты. И заключал свое предостережение восхитительной фразой: — В жизни есть вещи поважнее принцесс и Дюфи!

Я не спорил. Мне нравилось плавать с тобой на надувной лодке и играть в шары — в твоем состоянии все остальные виды спорта тебе были противопоказаны. Но я ничего не имел против ни Дюфи, ни тем более принцесс.

Однажды за ужином ты хохотал над тарелкой равиоли и рассказывал нам очередную байку, а я уронил хлеб, нагнулся и увидел под столом, что твою правую ногу свела судорога, и ты в прямом смысле слова обмотал ее вокруг левой и бил по ней кулаком, пытаясь унять боль. Я вынырнул, за столом ты продолжал все тот же рассказ, пародируя чопорного Анри в смокинге и сантехника, прочищающего унитаз. За столом уплетал равиоли доктор Джекилл, под столом страдал мистер Хайд.[38] Я не смог сдержать слез и убежал к себе.

Через несколько минут, тяжело ступая на костылях, появился ты. Я сидел перед моим Дюфи и плакал. Ты несколько минут смотрел, как я лью слезы, потом положил руку мне на плечо и поцеловал в макушку. До твоего отъезда в Савойю на «операцию последней надежды» оставалось несколько дней. Я быстро захлопнул тетрадь с неоконченным романом, чтобы ты не увидел посвящение *«В память о моем отце»*, написанное крошечными буквами на форзаце.

Я поднял глаза, ты отвел свои и уставился на автограф Рауля Дюфи.

— Не волнуйся, дружок, со мной ничего не случится, — произнес ты чуть севшим, но бодрым голосом. — Но я не случайно выбрал Анри в крестные — если вдруг умру, он сумеет тебя понять.

Это означало: он с уважением отнесется к моему призванию, не станет отговаривать.

В тот раз с тобой действительно ничего не случилось, ты пережил Анри на пятнадцать лет, но мы с ним успели подружиться. Мы стали реже видеться после моего переезда в Париж. На спектакли по моим пьесам частенько приходили его друзья, всякие там коронованные особы, вдовы художников и сулившие мне луну с неба капризные английские импресарио. Иногда ты ворчал, что с тех пор, как ко мне пришла известность, ему куда больше нравится роль моего крестного. Твой старый друг отвечал, что не виноват в том, что ты все еще жив: уж для мальчика, осиротевшего в девять лет, он бы расстарался. А пока

он ограничивался тем, что скупал за бешеные деньги первые издания моих романов, повышая спрос.

Вы с мамой купили дом по договору ренты, десять лет тратили на выплаты почти всю твою пенсию, и только-только переехали в Вильфранш-сюр-Мер, поближе к Анри, как он умер от рака из-за пряных трав.

Сразу после твоей смерти три медиума, независимо друг от друга, сообщили, что за тобой приходил какой-то Анри. Не знаю, стоит ли в это верить, но сама идея мне нравится. Когда я пишу эти строки, я чувствую, как вы стоите со мной рядом, шутливо боретесь за мое внимание, мое волнение и улыбку, перебиваете друг друга, вспоминая разные случаи из жизни, чтобы меня удивить, развеселить, вдохновить или поразить…

Ты давно предупредил меня, что на том свете освоишь два вида деятельности — живопись и квантовую физику. В земной жизни тебе на них времени не хватило. Ты понимал, что аграрное право вряд ли пригодится тебе среди духов, и придется подыскивать другое занятие. Ты и там был готов учиться. Лишь бы без дела не сидеть.

Я хорошо представляю тебя в компании таких же беспечных гуманистов, неуемных фантазеров, таких же настырных и любопытных, как ты сам. Полагаю, ты встретил там старых друзей, и вы неустанно возделываете ниву в заоблачной дали, а семена прорастают в наших снах. Пусть они всегда смотрят на меня, эти старые озорники, полубоги моего детства, из которых я по кусочкам сложил свой мир, будто пазл.

Самым старшим среди твоих коллег был Николаи, горбатый старик двухметрового роста. Это он, выступая в суде против Бюро по сбору отчислений в фонд социального обеспечения и помощи семье, говорил о парадоксе Гегеля и сексуальном подтексте у Вергилия. Он никогда не расставался с трубкой, улыбаясь, щурил глаза, как Будда, свободно говорил на латыни, арамейском, древнегреческом и на сленге Мишеля Одиара.[39] В саду дома в Ла Коль-сюр-Лу стояло надгробие с его именем и датой рождения. Не хватало только даты смерти. По выходным, в перерыве между аперитивом и барбекю, он водил гостей поклониться могиле. Когда запах дыма возвещал о том, что мясо готово, Николаи докладывал своему бюсту: «Мсье, кушать подано», и мы садились за стол.

Этот очаровательный сумасброд, способный запудрить мозги всем присяжным на свете, больше всего любил деревья и ручки. Последние он вырезал из веток первых и каждый год дарил мне два-три экземпляра, преподнося «ручку из его сада», словно свежесорванный огурец или баклажан.

— Сами убедитесь, дорогой Дидье, — говорил он, — некоторые романы нужно писать только вишневым деревом, другие — пробковым дубом. Бывают и такие, к которым можно подступиться только с сосной, но вряд ли это ваш стиль.

Подношения Николаи были слишком большими, чернила и смола подтекали, портя рукописи, поэтому я держал их на столе в вазочке и пускал в ход, только когда он сам приходил к нам ужинать.

— Итак, дорогая Поль, наш юноша уже покорил бугор Венеры? — спрашивал он у мамы, целуя ей руку.

— О Боже… — Мама терялась и начинала судорожно стряхивать с пальцев фарш или панировочные сухари. — Ему всего одиннадцать!

— Всему свое время, дорогая, всему свое время…

Мама отворачивалась к плите, а он торжественно вручал мне очередную «ручку-сучок».

— Запомните, мой мальчик, самое сложное — завлечь интересующую вас особу в закрытое помещение.

— Вовсе нет, куда сложнее выдворить ее потом оттуда, — отвечал я в том же изящно-пошловатом тоне.

— Поздравляю, старина, вот истинный сын своего отца! — восклицал Николаи, и ты розовел от гордости.

С другим адвокатом и большим любителем трубки Пьером Жосле тебя сближали острый ум, артистизм и убойный юмор. Вы вечно что-то затевали: то сочиняли уморительные скетчи для «Ревю дю Пале», то созывали всех на бал-маскарад, поручив женам — его супругу тоже звали Поль — заведовать хореографией и костюмами. От аплодисментов дрожали не только стены ваших домов в Верхнем Варе, но и мраморные статуи приемной суда, когда вы забавляли народ своими байками и виртуозными розыгрышами. Внешне Пьер напоминал Эррола Флинна и Кларка Гейбла.[40] Местные коррупционеры ненавидели вас за вызывающую неподкупность, кто-то завидовал красоте ваших жен, так что врагов хватало. «Плевать на них, они никогда нас не догонят», — смеялся Пьер, цитируя своего идола Жана Луи Бори, самого молодого лауреата Гонкуровской премии и самого беспощадного кинокритика, которому мы верили, как себе.

Рупор социалистов Ниццы и заклятый враг того самого Жака Медсена, что едва не женился на твоей жене, Пьер Жосле вроде бы никак не мог общаться с твоими друзьями из лагеря правых… Но, как ни странно, в те времена все было иначе. Не знаю, может, нынче политики поглупели. Только если раньше юмор примирял людей, то теперь, наоборот, разъединяет.

С друзьями по «Лайонс Клаб»[41] Дюшато, Мартеном, Полетто

и другими вы каждый год давали удивительные спектакли в пользу собак-поводырей. Как-то раз ты вырядился в мундир наполеоновского солдата и устроил потрясающую лотерею, чтобы найти человека-поводыря для ослепшей немецкой овчарки. Люди покупали билеты забавы ради, ни секунды не веря твоим словам, хотя ты все это устроил на полном серьезе и спас от эвтаназии старого пса, который двенадцать лет верой и правдой служил слепым, пока сам не ослеп.

Уже на пенсии ты подружился с Капони и Кальви. Вы вместе защищали в Париже интересы Национальной ассоциации почетных адвокатов и были бы неразлучны, кабы эти хлюпики не отправлялись спать в десять вечера вместо того, чтобы всю ночь шататься с тобой по кабакам.

Были у тебя и молодые друзья, вроде савойцев Франсуа и Жана-Ива, а среди сорокалетних первым другом стал хирург Маэстр***о***, соавтор твоих последних воскресений. Мишель, Люси, Сильве-на и другие артисты из театра «Ла Семез» частенько давали тебе роли в своих спектаклях, а Жерар и Жинетт уговорили войти в муниципальный совет. Ты с первого взгляда очаровывал внуков старинных приятелей и зачастую понимал их лучше, чем дедов: время идет, и друзья меняются. Старики тебя раздражали, а молодые принимали за своего. Именно они, чужие дети, тронули меня сильнее других, когда плакали у твоего гроба. И не счесть, сколько на свете людей считали тебя отцом, дедом, прадедом. Порой ты слишком рьяно, зато от чистого сердца боролся за всеобщую любовь. «Ваш отец умел заполнять собой пространство», — сказал мне твой старый друг депутат Паскини и несколько недель спустя последовал за тобой.

А еще был монсеньор Дом***а***, с которым вы всю жизнь друг друга спасали. Самое долгое сражение за честь друга в твоей жизни. Я хорошо помню этого высокого тощего человека, погруженного во вселенскую печаль из-за клеветы, возведенной на него собратьями во Христе. Ему понравилась моя первая книга, и он через тебя попросил переписать «помягче и покрасивее» его письмо к папе Иоанну Павлу II. Я углубился в изучение его досье. Оно меня потрясло.

Вас обоих мобилизовали в 1939 году и отправили на Альпийский фронт. Сразу после заключения перемирия твой друг вступил в Сопротивление. Прикрываясь «фасадом» провишистской спортивной ассоциации, ты помогал ему прятать и переправлять за границу евреев и коммунистов, которых выслеживали гестапо и милиция[42]… В послевоенные годы духовенство сурово осудило сотрудничество аббата с компартией, а непримиримая позиция епископа Ниццы спровоцировала волну

обвинительных писем в Ватикан, и Альфред Дома навсегда лишился надежды получить епископский сан.

В 1943-м ты всеми правдами и неправдами вырвал его из лап гестапо, двумя годами позже он ринулся спасать тебя от карающего меча антифашистов. С тех пор ты со всем пылом христианской любви, призвав на помощь весь свой адвокатский опыт, пытался реабилитировать его перед лицом церкви, но не преуспел. Монсеньор Дома был оправдан гражданским судом, но Ватикан своих санкций не снял. Наше письмо папе римскому — письмо последней надежды — осталось без ответа.

Римская католическая церковь не сочла нужным снять с Альфреда Дома подозрения в симпатиях к коммунистам, зато иерусалимский Мемориальный музей «Яд Вашем» наградил прелата медалью праведников, а мэрия Ниццы в 1998 году назвала в его честь улицу. Инициатором выступил президент студенческой ассоциации Жан-Марк Жиом. Он попросил тебя о поддержке, и то, что студент вступился за честь твоего покойного друга, доставило тебе в конце жизни невероятную радость.

Под конец жизни судьба преподнесла тебе еще один подарок. «Потерянные» фламандские кузены прочли мои книги, вышли на связь, и в восемьдесят лет ты обрел семью, воссоединился с родственниками, которых тебе так недоставало. Они оказались тебе под стать — крепкие работяги, бонвиваны, любили сытную еду, веселую шутку и никогда не кривили душой. Через Питера и Иоланду ты свел дружбу с монсеньором Яном ван Ковелартом — последним епископом Иноно в те времена, когда Демократическая Республика Конго еще была бельгийской колонией. Колонизаторы люто его ненавидели, потому что он прямо заявил туземцам: «Мы здесь для того, чтобы вы поскорее научились обходиться без нас».

Ты был изумлен, узнав, что этот выдающийся каноник, этот резвый бородатый коротышка, похожий на героя комиксов Эрже, [43] приезжал в 1960-м в Ниццу, чтобы по поручению Ватикана изучать дело твоего друга Дома. Ты передал ему папку со всеми документами, и он прозрел. При разбирательстве дела Яна ван Ковеларта ознакомили только с доносами и сообщили официальное мнение епископата, чтобы пастырь-либерал не копал слишком глубоко.

— Как жаль, кузен Рене, что мы тогда не были знакомы. Я составил бы совсем иной отчет.

Увы, Альфред Дома ушел из жизни с разбитым сердцем — несмотря на медаль праведника, почетный титул монсеньора и улицу, названную в его честь посмертно.

*

Я, кажется, перебрал всех твоих удивительных друзей, которые так украшали мою молодость, и вдруг засомневался. Те же Жан Ануй, Фелисьен Марсо, Мишель Деон, Антуан Блонден и Фредерик Дар,[44] которых ты лично не знал, но творчество которых так ценил и сумел свое восхищение ими передать мне, много лет спустя удостоили меня своей дружбы, но я все равно ощущал твое первенство. А были ли у меня друзья помимо твоих? И был ли у меня хоть один друг, который стал и твоим? Да, был.

Я познакомился с Ришаром Кароном в семнадцать лет. Он был членом жюри конкурса сценаристов на канале «Франс-3» и вручал мне вторую премию на книжном фестивале в Ницце. Автор множества детективов и телесценариев, добрейшей души человек, забулдыга и убежденный монархист, он гордился своим давно обнищавшим родом, бегал по судам, но добился только того, что гектар колючих кустарников, покрывающих развалины его родового замка, объявили не подлежащим застройке. С виду он был миниатюрной копией Алека Гинесса из фильма «Мост через реку Квай». Ришару понравилось, как я пишу. Как раз тогда он только что потерял сына, моего ровесника, который утонул у него на глазах. Мы стали закадычными друзьями.

Каждый раз, когда я приезжал в Париж на переговоры с издателями, Ришар водил меня в ресторан «Белман», на улицу Франциска I, уверяя, что позволит мне заплатить по счету сразу после выхода моей первой книги. Я зарабатывал тогда две-три тысячи в год, сочиняя короткие рассказы для «Франс Кюльтюр», и он сходу объяснил мне, как избегать налогов на авторское право, посоветовал купить дом Марселя Эме[45] в Рамбуйе и познакомил со своим другом Франсисом Вебером,[46] чтобы тот экранизировал мои неопубликованные бестселлеры.

После кофе уже захмелевший Ришар доводил себя до кондиции сливовицей, после чего вручал мне ключи от своего «фиата-850», я отвозил его в Севр, а сам возвращался на метро. Ришар так верил в мой успех, что на полгода заряжал меня оптимизмом. Только вы двое и верили в меня — ты да он.

По этой самой причине в середине 80-х мне вздумалось вас познакомить, хотя я крайне редко сводил вместе своих женщин, друзей и родных. Я и сегодня не могу без улыбки вспоминать ту свою идею, прямо скажем, не самую удачную.

В те времена дела мои шли столь успешно, что я мог взять себе в соавторы кого угодно. Это оказалось очень кстати: никто больше не приглашал Ришара Карона, который когда-то был королем комедии на французском телевидении, но после смерти

жены запил и окончательно испортил себе репутацию.

И я решил рискнуть ради него: он-то всегда меня поддерживал. Мы вместе взялись писать сценарий, работа не клеилась, а тут как раз ты приехал в Париж по делам Ассоциации почетных адвокатов и прямо с веселой пирушки заявился ко мне.

Ришар тоже был уроженцем северной Франции, ты радостно всучил ему свою голубую тетрадь, чтобы он как «профессионал» высказал тебе свое мнение, нельзя ли снять телесериал о приключениях бабушки Гортензии.

— Персонажи и впрямь забавные, — объявил трезвый, как стеклышко, Ришар (было 14-е, а он выпивал только по нечетным числам).

Ты просиял, предвкушая счастливое продолжение: он убедит меня исполнить долг правнука, и мы втроем напишем захватывающую сагу, которая потрясет телесообщество.

Ришар закурил сороковую по счету сигарету и заключил:

— Но стиль, между нами говоря, хромает. Так что продолжай выступать в суде.

Поразительно, сколь резко ты утратил чувство юмора. Ужин прошел в мрачной атмосфере, к тому же вместо вина мы пили «бадуа»,[47] чтобы не искушать Ришара, а в довершение всех бед ты проиграл нам в скрэбл, но я надеялся, что за ночь к тебе вернется хорошее настроение!

У меня была всего одна комната для гостей над гаражом, так что Ришар поделил с тобой вешалки в шкафу, и ты занял вторую кровать.

Утром, в половине седьмого, я увидел, как ты с угрюмым видом бредешь по лужайке и что-то бормочешь себе под нос.

— Хорошо спал? — спросил я, наливая тебе кофе.

— Чудовищно! Уговори своего друга бросить курить! Я каждые пятнадцать минут просыпался от его ужасного кашля.

Ты выпил кофе, съел два тоста и отправился повозиться в гараж, чтобы успокоить нервы. Через двадцать минут появился опухший Ришар в старом спортивном костюме цвета хаки. Вид у него был мрачный.

— Хорошо спал? — задал я сакраментальный вопрос.

— Хуже не бывает, и все из-за твоего отца. Он храпит, как бензопила, мне пришлось всю ночь будить его, симулируя кашель. Заставь его прооперировать носовую перегородку.

Вы провели вместе всего одну бессонную ночь. Но ты простил ему обиду, а он стал время от времени приглашать тебя на обед — без меня. Беспокоясь о друзьях, Ришар доходил порой до паранойи и не раз убеждал тебя открыть мне глаза на хитроумные заговоры и интриги собратьев-литераторов.

Однажды я присоединился к вам за послеобеденным коньяком и застал конец разговора. Ты подначивал его, как тренер боксера перед выходом на ринг, чтобы он сподобился наконец написать главную книгу своей жизни.

— Слишком поздно, — бурчал в ответ мой друг, потягивая сливовицу. — Я же не дурак, все понимаю.

— А если понимаешь, почему не действуешь?

— Зачем? Я все равно долго не протяну.

— Все мы смертны, но это не повод хоронить себя заживо!

— Говорю тебе, Рене, все кончено, меня списали.

Ты с силой сжал плечо единственного писателя, помогавшего мне, когда я еще был никем, и дал ему совет феникса-рецидивиста, привыкшего воскресать из пепла, — четкий, но трудновыполнимый:

— Так вернись в строй.

Ришар исполнил завет. Год спустя он умер от эмфиземы — со стаканом в одной руке и ручкой в другой.

*

За несколько месяцев до смерти ты впал в депрессивное состояние (не спровоцированное выпивкой), за которое когда-то укорял Ришара, и я познакомил тебя со своими новыми друзьями, адвокатами Жаном-Франсуа и Жаном-Полем. Решение савойского суда послало тебя в нокдаун — они подставили плечо, помогли тебе подняться. Изучили все детали дела и объявили, что ты прав по всем статьям.

— Значит, я не маразматик? — растерянно, со слезами в голосе спросил ты после их ухода.

На склоне лет молодые коллеги — один придерживался правых убеждений, другой был леваком — заняли место твоих покойных друзей и смягчили досаду из-за последнего поражения.

Сколько еще женщин было у тебя в жизни, помимо двух жен? Как-то раз нам встретилась бывшая танцовщица — с сиреневыми волосами; судя по всему, когда-то до войны вы были не чужими, но сейчас, полюбезничав с ней, ты признался:

— Надо же — совсем ее не помню, а ведь занимался с ней любовью.

Мне было семнадцать, я мало что в этом смыслил, но такая забывчивость мне показалась странной. Может, ты специально старался забыть свои любовные похождения — в знак супружеской верности? Со мной ты об этом больше не заговаривал. И чтобы ты не думал, будто я напрашиваюсь на

откровенность, я тоже молчал о своих сердечных делах. Так мы отмалчивались, нам даже казалось, что мы понимаем друг друга без лишних слов — заблуждение, которое часто приводит к досадным недоразумениям.

Однажды я взял тебя на теннисный матч поболеть за одну знакомую, нашу местную чемпионку; после игры ты ей долго меня расхваливал, пока не понял, почему ей так неловко: она — моя «бывшая», и это она меня бросила. В машине ты недовольно проворчал:

— Секреты секретами, но мог бы и предупредить.

Несколько недель спустя я так и сделал и поплатился за это.

Ее звали Сильви, мы учились вместе, она жила в общежитии при лицее. Высокая, близорукая, со светлыми волосами, витала в облаках и все время на что-то натыкалась. Из-за рассеянности, любви к одиночеству и молчаливости ее считали ботанкой. Чтобы понравиться ей, я написал пьесу для двух актеров. Для нее и себя. Актовый зал в лицее закрыли на ремонт, и она согласилась порепетировать вместе на выходных в какой-нибудь сельской гостинице.

Стоило мне сказать об этом маме, как ужин превратился в заседание антикризисного комитета. Я был несовершеннолетним, а маме казалось: привести девушку в гостиницу — все равно, что признать себя отцом, если она забеременеет. Решение созрело к завтраку.

— А вы поезжайте в Баржемон.

Баржемон — заброшенная ферма в департаменте Верхний Вар, мы давно хотели привести ее в порядок. И мамино «вы» подразумевало трех человек.

В эту глушь ни поезда, ни автобусы не ходили, так что нам с Сильви пришлось на репетицию ехать с шофером-надсмотрщиком.

— Что, влюбился? — спросил ты, наблюдая, как моя белокурая дева выплывает из ворот лицея — кружевное платье по ветру, плетеная корзина через плечо, в ней — «Искушение тоталитаризмом» Жан Франсуа Ревеля.[48]

— Кажется, да.

— Ладно, посмотрим.

Мне бы обратить внимание на это «посмотрим», но я торопился выйти из машины навстречу Сильви.

— Его отец, — сдержанно представился ты, протягивая ей руку.

Ты рассматривал ее сдержанно, как бы со стороны — будто и не ты вовсе, я был доволен. Видно, ты думал, симпатичные спортсменки привлекают меня куда больше хорошеньких

интеллектуалок. А твоя искренняя улыбка, которой завершился критический осмотр, окончательно усыпила мою бдительность. Тем ужасней было «пробуждение».

В тот год ты ездил на выбранном мной по каталогу темно-синем купе. Двухдверный автомобильчик элегантно петлял по извилистым дорогам Прованса. Мы с Сильви сидели сзади, держась за руки, боролись с тошнотой, слушали треск цикад и вдыхали дым твоей сигариллы. Выставив локоть в окно, ты горланил модные шлягеры «А я ей бип-бип-би-бип» и «Песенку бородатой женщины»,[49] которые разучивал для нового спектакля «Лайонс Клаб», в этом сезоне он посвящался «безумным годам».

На повороте у сосновой рощи ты замолчал. Это здесь ты уснул за рулем «пежо-403», когда через несколько недель после моего рождения спешил к нам в Баржемон. Машина вылетела с дороги и, перевернувшись, скатилась в кювет. Если бы не сработал рефлекс, и ты не выключил зажигание, машина наверняка взорвалась бы. А меня постигла бы та же участь, что и тебя: расти со сломленной горем матерью и бабушкой, свыкшейся с долей вдовы.

Нагнетая обстановку, ты описывал моей возлюбленной несчастного Дидье, каким бы я стал, если бы ты тогда погиб, — грустного сироту, чье воображение отравлено одиночеством. Ты вживался в образ, трафаретом накладывая свое детство на мое, вспоминая неприкаянного подростка, который пытался найти себя то в спорте, то в самодельных машинках и транзисторных приемниках.

Сильви выпустила мою руку. Ты заслонил меня своей тенью, я перестал для нее существовать.

Это было не слишком красиво — мне в ту пору, чтобы понравиться девушке, приходилось в буквальном смысле слова из кожи вон лезть. В подростковом возрасте я каждой весной превращался в урода. Разноцветный лишай — та еще гадость. Неизлечимое кожное заболевание, депигментация на нервной почве: как только солнце начинало припекать, лицо у меня краснело, и на нем выступали большие белые пятна. «Ну прямо пицца», — говорил ты, стараясь разрядить обстановку.

Чтобы выровнять цвет, нужно было или полностью закрасить лицо, или сдобрить его румянами. Выбеленное лицо на манер вампира или грим разрумяненного трансвестита. Я испробовал и то, и другое. В результате решил оставить все, как есть, а ты, чтобы отвлечь меня от всеобщих настороженных взглядов, дразнился: «Эй, Пицца Маргарита». Синьор Помидор в моцарелле.

Не знаю, что помогало — твоя смехотерапия или моя

влюбленность, — но мне было наплевать на эти солнечные пятна. Более того — я ими гордился. Они же появлялись из-за стресса — творческого кризиса и духовных терзаний. Как отличительный признак моей профессии. Боевое ранение. Мой камуфляж.

Странно, но этот физический недостаток начал досаждать мне только, когда исчез. Талантливая врач-дерматолог посоветовала рискнуть: принять сильное лекарство, влияющее на чувствительность кожи, и посидеть час на солнце без всякой защиты. Лицо обгорело, зато пигментация пришла в норму. Теперь меня считали красивым. Я тяжело переживал это, как толстяк, который вдруг сбросил вес. Запутался, перестал доверять людям. Прыгнул в пустоту. Даже реакция Сильви выводила меня из себя. Мне казалось, только теперь я ей понравился, а раньше она дружила со мной из жалости. Оглядываясь назад, я видел лишь лицемерие, сострадание и милосердие. В ночь, когда она наконец решила мне отдаться, я отказался, и мы расстались.

Но пока что мы ехали, чтобы провести вместе наш первый уик-энд, и отец, которого у меня могло и не быть, весело закладывал виражи, напевая душераздирающую песенку Марсель Борда: *«У меня борода, но язык мой остер!/Я же женщина, а не какой-то сапер».*

В Баржемоне Сильви не удалось избежать экскурсии. Ты показал ей с дороги старый хутор, который хотел засадить огородами, но не смог из-за артроза. Чуть ниже за садом с засохшими яблонями находилась та самая полуразрушенная ферма, ее-то мы и пытались восстановить. Прямо напротив — замок графов де Вильнёв, когда-то в нем жила семья адмирала, потерпевшего поражение при Трафальгаре, теперь там открыли детский приют, а директором стал твой друг Хассейн Хаяти, — давайте зайдем поздороваться! Ах, он, оказывается, в «Гелиадах», в доме для престарелых, ладно, идем туда. И вот уже нас обнимает твой друг из Туниса Хассейн, я его обожаю за грубоватые шутки, но сейчас бы вполне обошелся без них.

Я мечтал, что мы будем ужинать с Сильви при свечах, но наш первый ужин прошел при тусклом свете лампочек в казенной столовой, под шарканье ходунков и стук зубных протезов. Хассейн называл Сильви не иначе как моей невестой; желая ей угодить, спросил, кем она хочет стать. Не успела Сильви ответить — «медсестрой», как ее отправили на практику — вводить инсулин мадам Одибер.

После компота мы откланялись. Призрачный лунный свет пробивался сквозь стволы засохших яблонь. Ухал филин, в молчаливом танце кружились летучие мыши. Сильви ногтями впилась мне в ладонь, мы осторожно пробирались по рытвинам к

«руинам»: с подчеркнутой вежливостью, вопреки моим ожиданиям напрочь забыв про гостеприимство, ты заявил, что тебе лучше спать в доме, а нам — в сторожке. В убогой лачуге с грязно-розовыми стенами, такой маленькой, что издалека не заметишь; ее соорудили, когда строили в Провансе железные дороги, но вскоре оказалось, что дорога никому не нужна, а сторожка и подавно. Ни воды, ни электричества. Единственное украшение комнаты, где мы собрались предаться любовным утехам, — три железные койки из приюта Хассейна.

Раздосадованный, я пошел к машине за вещами. Меня ждал еще один приятный сюрприз: ты неплотно закрыл термос — на мою пьесу пролился кофе. Прощай, идеальный предлог, прощай, великая сила искусства, а я на них так рассчитывал, чтобы уложить Сильви в постель.

Когда я вернулся, ты, галантно освещая путь керосиновой лампой, водил гостью по нашим владениям, и объяснял, чем хороши огромные пауки, сидящие в толстой, как гамак, паутине:

— Комары вас точно кусать не будут.

Если ты получил приказ испортить нам весь интим, мама могла тобой гордиться.

Наконец ты ушел. Мы дождались, пока луч фонарика исчезнет во дворе за платаном. Я обнял Сильви.

— Он просто супер! — тут же сказала она.

Я сдержанно поблагодарил ее за комплимент отцу, но она еще битый час расспрашивала о тебе. Ее-то отец, начальник почты, милейший человек, но разве можно его сравнить с этим вдохновенным сумасбродом, с этим ходячим фейерверком, чьим сыном мне посчастливилось быть. Я попытался перейти от слов к делу, состряпал сладострастную мину и начал ее ласкать. А Сильви хотелось поговорить. Она безо всякого смущения призналась, что пока еще девственница и рада тому, что ты с нами. Она же знает себя: она бы в конце концов уступила, чтобы не обидеть, но теперь это вряд ли, ведь ты ночуешь по соседству, вдруг неожиданно вернешься…

— Да не придет он, — успокаивал я. — Он все понимает.

В ответ на мои уверения раздался стук в дверь.

— Тук-тук! — прокричал ты, будто просто постучать было не достаточно.

Ты вошел, объявил, что бутылка Vittel — в ведерке со льдом. И, стоя внизу у лестницы, поинтересовался:

— Все взяли? Зубную пасту, беруши, презервативы? Ну, тогда доброй ночи.

Дверь закрылась. Я мысленно досчитал до двенадцати. Шаги удалялись, у тебя под ногами хрустели ветки. Решил вновь

подступиться к Сильви, опять неудача.

— А беруши зачем? — забеспокоилась она.

Я ответил: «Да просто так», но уже понял, что ничего мне не светит.

— Подумать только, уже полночь. Не обидишься, если не будем «шалить»?

«Нисколько», — бодро ответил я, рассчитывая смутить Сильви. Она облегченно вздохнула, сказала, что я тоже супер, и предложила спать вместе, раз мы такие умницы. Я с невозмутимым видом согласился — мол, мне доверять можно. Мы составили койки, убрали перегородки, легли и обнялись. Я думал, что мне все же кое-что удастся, когда она будет лежать в моих объятиях, безмятежная, в дремотной неге, но все мои планы сорвал странный шум: какой-то плеск и металлический скрежет.

— Что это, Дидье?

— Да ерунда. Вода в трубах шумит.

— Но ведь водопровод не работает?

— Не работает. Да все нормально. Ты спи.

Сквозь щель в ставнях я увидел луч твоего фонарика. Ты вышел в ночной дозор. Шум стих, повторился, потом потонул в странном топоте у нас над головой.

— Сони, — догадался я.

— Ясно. Где там твои беруши?

Секундное замешательство. Я позаботился о презервативах, а о берушах и думать забыл. Смущаясь, признаюсь в этом Сильви. Она улыбается, тронутая моей честностью и начинает отвечать на мои ласки, говорит, что беруши ей взять неоткуда, но хоть утешить немного готова.

Тут входная дверь снова с треском распахивается.

— Спокойно, это я! — голос у тебя встревоженный.

Сильви выпускает изо рта мое мужское достоинство и спрашивает, что случилось.

— Нет-нет, все в порядке, — отвечаешь ты неуверенно. — Я искал в траве ключи от машины, услышал какой-то шум и… Вот черт. Только не спускайтесь.

Она надевает майку, я — трусы, мы застываем в ожидании на разных концах кровати, опять раздается знакомый скрежет.

— Бедняжка, — вздыхаешь ты.

— В чем все-таки дело?

— Какой же я идиот, забыл про ведерко со льдом! Она упала туда и утонула.

— Кто — она? — кричит Сильви.

— Мышка.

Стоит гробовая тишина, слышны только странные хрипы.

— Папа.

— Что?

— Только не говори, что делаешь ей искусственное дыхание «рот в рот».

Мой голос дрожит от досады. Откашлявшись, ты объявляешь, что идешь ее хоронить, и в третий раз желаешь нам спокойной ночи.

Через минуту после того, как хлопнула дверь, я спрашиваю как ни в чем не бывало:

— Так на чем мы остановились?

В ответ — странный писк. Уткнувшись носом в подушку, Сильви помирает со смеху, говорит, что в таком состоянии лучше не продолжать, а то как бы она мне чего не повредила.

Мы засыпаем под топот сонь, спина к спине, обнимая каждый свою подушку. В семь утра ты устраиваешь нам подъем, как в армии.

— Тата-рата, тара-та, тара-та! — трубишь ты под нашим окном, сложив ладони рупором. — По-одъ-ем, круассаны прибыли!

Мы одеваемся, выходим, шатаясь, как зомби. А у тебя энергия бьет ключом, встал в пять утра, вырядился в старый ярко-зеленый спортивный костюм и уже успел сделать перегородку в подвале.

— Они еще горячие, скажите спасибо Хассейну.

Великий визирь дома престарелых, сочувственно улыбаясь, машет нам рукой. Мы его благодарим. Круассаны с виду напоминают старые мочалки.

— Я их немного штукатуркой измазал, но потом сполоснул, — объясняешь ты нам. — Давайте скорей, нужно показать Сильви Канжуэр.

Я, в отличие от тебя, никакой срочности в этом не видел. Как только Сильви отправилась в единственную на ферме ванную, ты подмигиваешь и вопросительно смотришь на меня — тебя интересуют мои ночные подвиги. Я в ответ лишь недовольно морщусь. Ты радостно набрасываешься на круассан.

День, как ты и задумал, начинается романтично — нашим вторжением в военный лагерь Канжуэр, где по пустынной площадке ездят танки и в сторону моря стреляет пушка. Мы устроили пикник в руинах деревеньки, отведенной для учений, среди стреляных гильз и осколков гранат. Ты гладил ужа и рассказывал нам, как приручил вот такого же, когда строил блокпост в Альпах. Завороженная твоим военным прошлым Сильви внимала тебе, как богу, а когда я попытался закруглить разговор, послала меня собирать ежевику. После обеда мы работали в подвале, а потом ты по совету Хассейна повел нас

купаться на речку. Вода была мало того что ледяная, но еще и красно-лиловая — выше по течению завод по производству консервированных фруктов сбрасывал в реку отходы.

Вечером мы высадили Сильви у общежития, и я повернулся к тебе, не скрывая клокотавшей во мне ярости. Ты в двух словах объяснил, зачем устроил весь этот цирк.

— По-любому, она — девушка с юмором. Из-за нее тебе страдать не придется. Я ее хорошенько проверил, без дураков.

Я ничего не ответил. О моих любовных страданиях ты знал не понаслышке. В двенадцать лет я влюбился в стюардессу Шейенн и так ревновал, что долго был просто не в себе. Молчал, притворялся, что все в порядке, но ты, наверное, заглянул в дорожную сумку «Эр Франс», где я, как святыню, хранил духи и фотографию, которые у нее украл. Или того хуже, ты наткнулся на депрессивный роман, написанный под впечатлением моего бегства в Париж. Пройдет двадцать лет, я перепишу его и опубликую.

Как бы там ни было, с тех пор ты боялся, что я такой же ранимый, как и ты. И представлял себе, что я вдруг вздумаю покончить с собой, потеряю сон и буду травить себя сигаретами «Лаки Страйк». Ты не хотел, чтобы женщины представляли для меня опасность, и чем они красивее — тем опасность больше.

Впрочем, Сильви мне ничего плохого не сделала. Уцелев после оштукатуренных круассанов и купания в маринаде, она рассказала всему общежитию про «Ночь с сонями», а мне подарила самое легкое и приятное из любовных разочарований.

Год спустя мое сердце разбила совсем другая девушка. Беатрис. Ты видел ее лишь однажды — в день, когда ты купил мне мопед в магазине ее брата. Мы вместе готовились к экзаменам на степень бакалавра, Беатрис забеременела. Она хотела оставить ребенка, я — нет, ну, не знаю, нужно же сначала рассказать родителям, найти нужные слова, выбрать удачный момент. Я воображал твою реакцию, представлял, как ты чешешь в затылке и бормочешь: «Ну, а что скажем маме?»

Говорить ничего не пришлось. На третьем месяце беременности Беатрис разбилась на мотоцикле. Я как раз сформулировал признание и проверил его в церкви на другом конце города, покаявшись незнакомому священнику. Отрепетировал, так сказать.

— Будем молиться, сын мой, Господь поможет, — вздохнул кюре.

Но я молил не об этом и не такой помощи ждал. В пятницу я подъехал к воротам кладбища на мопеде. Никто не знал, что я хороню и моего неродившегося ребенка.

Людей у могилы было немного — близкая родня и какие-то старики. Когда умираешь в восемнадцать лет, школа, одноклассники, учителя уже в прошлом, и молодых у гроба мало. Похоже, нас — лицеистов, решивших прогулять уроки — было всего двое. Мы встали рядом.

— Я из «Парк-Империяль», а ты?

— Из «Этьен д'Орв».

Он был высокий, худой, сутулый и печальный. Когда могилу засыпали, он отвел меня в сторону и упавшим голосом спросил, откуда я знаю Беа.

— Покупал у нее мопед. А ты?

— Она ждала от меня ребенка, — сунув руки в карманы, ответил он.

Я промолчал. Да и что тут скажешь? «От меня тоже»? Ни ложь, ни правда уже не имели никакого значения. Неважно, зачем Беа сказала это нам обоим — то ли сама сомневалась, то ли просто на всякий случай, но мое признание теперь ничего не изменило бы. Все равно каждый будет скорбеть в одиночку.

Кроме того священника, я больше никому о Беатрис не рассказывал. Как ты узнал? Прочитав в 2000 году «Воспитание феи», ты вдруг положил мне руку на плечо и сказал:

— Хорошо, что вставил ее в роман.

Я обомлел, а ты продолжал:

— И правильно, что ничего тогда нам не сказал. Я поступил бы так же.

Больше мы к этой теме не возвращались, и я не знаю, кто тебя оповестил — Беа или ее брат, торгующий мотоциклами? Вполне возможно, читая книгу и привыкнув расшифровывать мои фантазии, ты инстинктивно уловил в художественном вымысле автобиографический подтекст. Думаю, так оно и есть, во всяком случае, это на нас так похоже. Ты — со своей ужасной застенчивостью, я — со своей скрытностью, оба прятались под масками экстравертов и были отличной командой, хорошо держали язык за зубами и уважали право друг друга на тайну. Никто не мог вывести нас на чистую воду, вызнать наши секреты, взломать наши шифры. И сейчас все по-прежнему. Посмертные послания, которые ты якобы шлешь мне через медиумов, это подтверждают: там ты тоже шифруешься. Живопись *«Моди» стала мостом между ней и нами…* или *— Жду, пока ТГК решит, что он хочет, а там уж я помогу.* Смысл улавливаю только я и другие посвященные лица.

Я не ищу доказательств жизни после смерти, но вижу по этим посланиям, что человек, которым ты был, продолжает со мной общаться. И это самое важное.

Я почти не скучаю по тебе, папа. Я больше говорю с тобой, чем слушаю; с тех пор, как ты умер, мне кажется, я живу за нас обоих. Конечно, мне не хватает твоего взгляда, голоса, смеха, твоей руки у меня на плече, но ты занимаешь все то же место в моей жизни. И никому не хочешь его уступать.

Эта книга постоянно возвращает меня к тебе, этот диалог, где говорю только я, отгораживает меня от мира, и мне это нравится, иначе ее не напишешь, я ни о чем не жалею, только не знаю, что будет потом.

— Лишь в одном могу упрекнуть твоего отца — он обращался со мной, как с ребенком.

Позвольте уточнить. Ты бы сказал иначе: «как со слабоумной» — не способной разобраться в инструкции или справиться с бытовой проблемой. И в самом деле, твоя вдова злится, что ты, самоотверженный тиран, оградил ее от налоговых деклараций, ремонта телевизора, медицинских страховок, гарантийных талонов и пенсионного фонда. В общем — от реальности. А сейчас она заблудилась в этих бумажных джунглях, среди непонятных инструкций, бытовой техники, не желающей подчиняться пультам, и административно-правовых вопросов, которые когда-то решала в два счета. До встречи с тобой. Пока ты не взял все на себя. Пока не занял весь дом, оставив ей только кухню.

Между тем ты сам всегда признавал, стоило доверить ей руководство каким-нибудь предприятием, и дела шли в гору. Но по горькой иронии судьбы, мама всегда возвращалась на кухню. Когда она курировала снабжение американского флота в Вильфранше, работа прервалась из-за внезапной смерти хозяев компании и грызни наследников. Потом она увлеклась цветоводством, и несколько лет все шло прекрасно, но дело испортил ее милейший компаньон, похожий на Альфреда Хичкока. Он, к несчастью, обожал марсельских проституток и нередко путал свои карманные деньги с наличностью компании.

Всякий раз мама уходила, хлопнув дверью, и ты снова брал ее под свое крыло. Боясь, что она зачахнет над равиоли, конфитюрами и тушеным мясом, ты всегда побуждал ее найти работу, и лучше всего работать у тебя. Когда мадам Вандром вышла на пенсию, ты взял секретаршей свою жену — дипломированного юриста.

— Я была слишком сговорчива, и он меня подавил, — сказала мне мама, стоя у твоей могилы. — Может быть, зря. Думаю, если б не он, из меня вышел бы неплохой адвокат.

Наверняка. Однажды, когда ты был жив, он применила свои профессиональные навыки как раз в таком деле, где обычно блистал ты. Один-единственный раз в моем присутствии она сыграла роль моего защитника, и, возможно, лучше, чем это сделал бы ты. Пожалуй, тебе недоставало ее хитрости, невозмутимости и быстроты реакции.

Случилось это весной 1977 года. Я шел по бульвару Гроссо к лицею «Этьен-д'Орв». Поднималось яркое солнце, день обещал

быть чудесным. Я бы все на свете отдал, чтобы после обеда рвануть куда-нибудь с Сильви, а не сидеть три часа в четырех стенах на уроке французского и латыни, с мадемуазель N. При виде телефонной кабины меня осенило. Я бросил в автомат двадцать сантимов, позвонил в учительскую и, стараясь говорить басом, сообщил, что звоню по просьбе мадемуазель N., и что из-за плохого самочувствия она просит отменить сегодняшние занятия. Старшая воспитательница поблагодарила меня за звонок.

— А вы, вероятно будете…?

Я многозначительно ответил:

— Да.

— Очень приятно, мсье. Надеюсь, ничего серьезного?

— Нет-нет, она немного простыла.

— Хорошо, мсье, всего вам доброго.

Я повесил трубку, сам не веря, что все оказалось так просто. Мадемуазель N. была замечательным преподавателем, но слишком часто заводила речь о политике или о своей личной жизни, постоянно цитируя некоего профессора и называя его своим другом. За него-то меня и приняли.

Войдя в лицей, я увидел, что имя моей преподавательницы написано мелом на доске отсутствующих. После утренних занятий мы с Сильви пошли на пляж и чудесно провели время.

Назавтра я застал одноклассников в полной боевой готовности. Мне рассказали, какой ужасающий вышел скандал: в два часа мадемуазель N. вошла в класс, не увидела своих учеников и ринулась выяснять, кто посмел без ее ведома изменить расписание класса «A1». Ей ответили, что она числится вроде как больной. Мадемуазель N. возмутилась, переругалась со всеми учителями и в истерике перевернула лицей вверх дном в поисках своих учеников.

Тут и возникло отягчающее обстоятельство: единственный, кто не пошел с нами на пляж, был мой друг Иван, последний двоечник, парень недалекий, но трудолюбивый и очень обидчивый. Он остался в библиотеке, чтобы позаниматься французским. Обнаружив его там, мадемуазель N. набросилась на него, мол, что он здесь делает. Иван, оскорбленный в лучших чувствах, задал ей тот же вопрос, после чего она сочла его зачинщиком и прилюдно в этом обвинила. Он защищался, кричал о нарушении прав человека и предвзятом отношении. Мадемуазель N. заявила, что это политический заговор, и Иван должен немедленно предстать перед дисциплинарным советом.

Я был в полном смятении. Как только мадемуазель N. появилась в конце коридора, я подлетел к ней и во всем признался. Она отпрянула и смерила меня взглядом, нахмурив

брови:

— Я ценю ваш героизм, Дидье, но не советую вам покрывать товарища и брать на себя его вину. Пусть Иван сам за себя отвечает.

Потом вошла в класс и устроила нам внеплановую контрольную. Как только все сдали тетради, она удалилась, не дав мне возможности продолжить мои признания.

Караулить мадемуазель N. у туалета я не стал — предпочел сознаться во всем директрисе. Чем сразил ее наповал. Чтобы такое совершил я, активист, которого делегировали в административный совет лицея, участник общенационального конкурса по французскому языку, основатель труппы «Друзья из „Этьен д'Орв“», чей премьерный спектакль по пьесе Сартра «За закрытыми дверями» должен был пройти на сцене Национального драматического театра Ниццы, — это уму непостижимо. Наша директриса быстро соображала и тут же выдвинула удобную версию: мой звонок в учительскую можно объяснить временным помешательством, либо принадлежностью к группе экстремистов, избравших своей мишенью мадемуазель N. за ее профсоюзную деятельность. Вот так из дурацкой шутки вырос целый заговор.

Вечером я все рассказал вам. Ты расхохотался. Мама отнеслась всерьез. Она заявила, что необходимо подготовиться к защите на дисциплинарном совете, иначе меня могут отчислить из лицея.

— Да брось, вряд ли до этого дойдет, это же просто шутка. Глупая, конечно, — сурово добавил ты, давясь от смеха. — Да не станут они выставлять себя на посмешище. В его возрасте я и не такое вытворял. Учил свою литераторшу вызывать духов. Украдкой двигал столик, а она думала, будто на ее вопросы отвечает Виктор Гюго. Однажды у нее за спиной зашевелился шкаф. Я тут был ни при чем, а она решила, что ее разыгрывают, и первая засмеялась.

— Сейчас все по-другому, Рене.

Мама оказалась права. Вас вызвали к директору в понедельник, в семь сорок пять утра. Но приняли не сразу. Усадили в плетеные кресла, словно пригвоздили к позорному столбу у всех на виду. Целый час вас продержали в холле, где сегодня за стеклом выставлены все мои книги и висит фотография с датами учебы (1975–1978 гг.).

На исходе шестьдесят пятой минуты публичного унижения жена сказала тебе:

— Уходи.

— Как это — уходи?

— Они не смеют так с нами обращаться! У тебя работа и

клиенты, представление слишком затянулось, все, иди.

Ты нехотя подчинился. Четверть часа спустя воспитательница, цокая на шпильках провела маму в кабинет директрисы. Они холодно пожали друг другу руки. Состоявшийся разговор мы знаем в мамином изложении.

— Ваш супруг не пришел?

— Задайте этот вопрос вашим сотрудникам: они все успели его рассмотреть, как слона в зоопарке.

— Сожалею, что вам пришлось ждать, у меня были неотложные дела.

— У него тоже.

— Вам известно, сколь серьезные подозрения падают на вашего сына?

— Это не подозрения. Он сам во всем сознался.

— Думаю, вы понимаете, что наказание неизбежно.

— Конечно. Где мой сын?

— На уроке французского.

— Вы не станете возражать, если мы пригласим сюда Дидье и его преподавательницу?

— Я как раз хотела это предложить.

Воспитательница на шпильках пришла за нами, когда мы переписывали сочинение. Отстав на две ступеньки от мадемуазель N., я шел по лестнице, как на казнь, не хватало только барабанной дроби.

— Кто бы мог подумать! — накинулась на меня директриса. — У вас такие оценки, у вас — театральный кружок, вы — член административного совета, наконец… Как вам только такое в голову взбрело, Ковеларт?

Я стал объяснять, мол, была чудесная погода, мне захотелось пошалить, и все прошло на удивление гладко.

— Да, меня, кстати, удивило, — вступила в разговор мама, — что у вас в лицее так легко сорвать урок.

— Давайте не будем обсуждать моих сотрудников, мадам. Сейчас речь о том, кто звонил от имени мадемуазель N.

— Вы не проверяете подобные звонки?

— Видимо, сын у вас не только двуличен, он — еще и талантливый фальсификатор.

— Вы хотите сказать имитатор.

— Я сказала именно то, что хотела.

— Будь по-вашему, госпожа начальница.

— Директриса, с вашего позволения.

— Как вам угодно. Меня только одно смущает: когда вам сообщают, что у вас заболел сотрудник, вы верите на слово.

— Преподаватели имеют право отсутствовать несколько дней

без бюллетеня.

— Рада за них.

— Боже мой, Дидье, ну что плохого я тебе сделала? — вдруг завопила мадемуазель N.

— Да ничего. Эта чистая случайность.

— Я тебе не верю! Кто за тобой стоит?

— Никто. Я пошутил, вот и все.

— Быть того не может! Только не ты. Нет, это дело политическое. Кто тебя науськал? Ты скажи, я пойму. Я многим мешаю, мне не впервой сталкиваться с подобными провокациями.

— Послушайте, мой сын уже не раз повторял, вы — жертва неудачной шутки, но не мишень. Он пошутил, и только.

— Тогда его нужно показать психоаналитику! — У мадемуазель N. сдали нервы.

— Мне странно, что шутку подростка вы возводите в ранг политической провокации, — спокойно сказала мама.

— Да, если речь идет о вашем сыне! — вмешалась директриса. — Такой серьезный и сознательный. Мы возлагали на него большие надежды…

— По-моему, вы слишком серьезно относитесь к таким ученикам, мадам. Что до меня, я радуюсь, если мой сын хоть изредка ведет себя, как ребенок.

Гарпии разинули рты и переглянулись. Наступила долгая пауза. Я так гордился своим адвокатом. Мама не подражала тебе и не выступала от твоего имени, но разработала собственный план: осуждая сам поступок, она тем не менее отвергала вероятность умысла и защищала мое право веселиться. Жаль, что этот поединок никто не заснял на пленку. Думаю, ты получил бы огромное удовольствие и не раз пересматривал и перекраивал ее у себя в видеомонтажной.

— Тем не менее, я вынуждена на неделю отстранить вашего сына от занятий.

— Это вполне справедливо, — согласилась мама. — И гораздо разумней, чем отправлять его к психоаналитику.

— Наверное, вы правы, — вздохнула директриса. — Возможно, мы действительно переоцениваем наших отличников.

Она встала, пожала маме руку. Я принес мадемуазель N. официальные извинения за непреднамеренный моральный ущерб. Она нехотя приняла их, явно жалея, что это был всего лишь розыгрыш, а ее лучший ученик оказался просто озорником, а не экстремистом.

Потом мы поднимались с ней по лестнице бок о бок, а преподаватели и ученики удивленно оборачивалась при виде ее удрученного и моего сияющего лица. Мадемуазель N., надо

отдать ей должное, не пыталась отомстить мне за пережитую обиду и разочарование. Несколько месяцев спустя она поздравит меня с блестящей сдачей экзамена по французскому и снова проявит великодушие, объявив во всеуслышание, что такой выпускник — большая честь для нее, и тем самым докажет, что и у нее есть чувство юмора.

Вечером, после битвы в директорском кабинете, ты открыл шампанское, чтобы отпраздновать мое временное исключение. Выслушав мой подробнейший рассказ о мамином триумфе, ты испытал гордость за жену, хоть и слегка растерялся, ведь на сей раз я восхищался не тобой. Так или иначе, в тот день мама при мне подтвердила свою профпригодность, показав себя адвокатом экстракласса. А ты по такому случаю взялся приготовить ужин вместо нее.

В кухне мгновенно все пошло кувырком, и тебя отослали к твоим видеомагнитофонам. Как выяснилось, вы далеко не во всем могли друг друга заменить.

Театром Ниццы в те годы руководил Жан-Пьер Биссон, который затеял благородное дело — прослушивал местные любительские труппы, и если спектакль ему нравился, в свободные от представлений вечера он отдавал свой большой зал, а с ним и всех купивших абонементы зрителей в полное распоряжение самодеятельных артистов. Нимало не смущаясь, я записал своих «Друзей из „Этьен д'Орв“» в список претендентов. Биссон пригласил нас в десять утра, и мы играли на огромной пустой сцене для него одного. Не имея ни малейшего представления об экзистенциалистской концепции Сартра, я превратил «За закрытыми дверями» в бытовые зарисовки, где поэтизация повседневности граничила с откровенной жестокостью.

Биссон остановил нас на двадцатой минуте, вынес краткий вердикт: «Оригинально» и позвал администратора. Представить только — наш скромный спектакль, который мы поставили в общежитии лицея, истратив на все про все три франка и шесть су, через три недели увидят восемьсот зрителей. Мне было предписано доработать мизансцены, добавить динамики и сменить декорации. Короче говоря, мое «исключение» из лицея пришлось очень кстати.

Были задействованы все добровольцы. Ты взял на себя «литейные работы» по усовершенствованию важнейшего аксессуара — бронзовой статуэтки в духе Барбедьена, которую ты сам когда-то сделал для нас, обклеив газетной бумагой остов из папье-маше. На этом твоя миссия не закончилась. Поскольку я играл в пьесе главную роль и не мог объективно оценить постановку, тебе пришлось делать это самому. От незаметного бутафора ты дорос до помощника режиссера, а попутно исполнял обязанности сопродюсера и юридического консультанта.

Я так забегался, так увлекся, что в горячке упустил самый важный момент: не запросил у Союза театральных авторов и композиторов права на постановку. Как только в «Нис-Матен» появилось объявление о спектакле, Союз прислал нам заказное письмо, запрещающее постановку. Ты незамедлительно ответил, что «Друзья из „Этьен д'Орв“» признают свою ошибку, вполне простительную для столь юных театральных деятелей и готовы урегулировать ситуацию на условиях правообладателя. Союз ответил, что регулировать надо было раньше и запрет не снял. Театру Ниццы оставалось только подчиниться и снять наш анонс.

Ты огорчился даже больше, чем мы. Сроднившись с нашей

мечтой, ты воспринял это, как личное поражение. Хуже — как профессиональную ошибку, но отступать ты не привык.

— Снять запрет Союза может только автор, — сказал ты и протянул мне ручку. — Напиши ему.

Я послушался, чтобы тебя утешить, и хотя сам ни секунды не верил в успех, отправил в издательство «Галлимар» длинное послание для передачи автору от горячего поклонника. Шесть дней спустя пришла телеграмма:

> *Даю разрешение играть «За закрытыми дверями». Жан-Поль Сартр*

В это было трудно поверить. Ты позвонил в Союз, и взявший трубку чиновник подобострастно заверил, что все административные препоны сняты. Но нас ожидал еще один приятный сюрприз. Через месяц после премьеры мне передали из театра конверт, адресованный «Мсье режиссеру „Друзей из «Этьен д'Орв»“». Внутри был серый листок с отпечатанным на машинке текстом.

> *Мсье,*
>
> *Мои друзья видели вашу постановку «За закрытыми дверями». Говорят, смеялся весь зал. Мне и самому эта пьеса казалась забавной, но все утверждали обратное. Спасибо, что стали на мою сторону тридцать три года спустя.*
>
> *Сартр*

Должно быть, на той неделе мой ангел-хранитель решил поработать почтальоном. Через день мне пришло еще более неожиданное послание. В полном восторге от книг Женевьевы Дорман,[50] я когда-то отправил этой незнакомой мне женщине несколько страниц моего сочинения и выращенный на балконе лимон — намек на название одного из ее романов. Писательница подтвердила получение посылки, сдержанно указала на шероховатости стиля, но призналась, что ей было смешно и что я по праву могу считать себя писателем. Она советовала не доверять издателям: «Им лишь бы побольше бумаги продать», — а своего единственного выбирать придирчиво и старательно, как нужное слово или спелый лимон.

Два волшебных письма висели на кнопках у меня над письменным столом и, как два компаса, показывали противоположные направления. Как поступить — сидеть взаперти и писать, получая отказ за отказом от «торговцев бумагой», или попробовать себя в театре, раз там меня так хорошо приняли?

Собравшись с духом, я взялся за оба дела сразу. Ты же в упоении раздавал всем ксерокопии писем и даже придумал фантастический план: свести за обедом в Париже двух первых членов моего фан-клуба — экзистенциалиста и «кавалерист-девицу». Гуру леваков-интеллектуалов и романтическую бунтарку из правых.

— Это будет такая встреча… — заранее радовался ты, — кто сказал, что они друг друга терпеть не могут? Тем более, кое-что общее у них уже есть.

Когда дело касалось меня, ты готов был идти напролом. Впрочем, шесть лет спустя обед все же состоялся. Правда, Сартр уже умер, ты принялся расхваливать его Дорман, она приняла тебя за безумца и сразу прониклась симпатией.

*

— Вы впервые работаете вместе?

— Да что вы, нет, конечно! — воскликнул ты.

Это было после премьеры «За закрытыми дверями». Анна де ла Валет, бойкая репортерша с Радио Монте-Карло — та, что прославилась, уговорив преступника в аэропорту Ниццы отпустить заложников, — брала у нас интервью за кулисами после отгремевших оваций. Спектакль никто не снимал, и я не знаю, что там на самом деле получилось, но весь лицей пришел нас поддержать, и обстановка напоминала скорее стадион, а не театр.

Я вывел на поклон всю мою техническую команду, и журналистка приняла тебя за декоратора-постановщика. Впервые в жизни ты тянул одеяло на себя; обычно это я пользовался твоей известностью.

— Напомним нашим слушателям, что Рене ван Ковеларт — известный всей Ницце адвокат, но вдобавок мэтр оказался отцом и помощником юного режиссера. Так когда же сложился этот творческий союз?

Мы с улыбкой переглянулись, я открыл было рот, но ты ответил за меня:

— Ему было два или три месяца, точно не помню.

И ты рассказал, что в детстве у меня была аллергия на материнское молоко, а тебе артроз мешал спать, и в пять утра кормил меня ты. Вместе с молочной смесью и фосфатином ты потчевал меня историями, благодаря которым мне потом и захотелось стать писателем. Если верить тебе, я не только слушал и все понимал, но и смеялся, где положено.

Ты, конечно, по привычке приукрасил историю нашей дружбы, хотя кое-какие воспоминания об этих годах сохранились и у меня: так, однажды, я огорошил тебя вопросом, почему утром ты называешь меня «господин Председатель». Ты смутился и покраснел. Просто забавных историй и сказок о волосатых феях или зачарованных людоедах-вегетарианцах тебе было мало — ты оттачивал на мне свои речи в суде. Мое воображение кормилось дивными поучительными историями вроде этой: «Господин председатель, мой многоуважаемый собрат забывает, что два вышеупомянутых участка до момента раздела принадлежали одному собственнику, вследствие чего мой клиент не обязан подтверждать сервитут фактом пользования землей на протяжении тридцати лет». Конечно, мне нравилось, как это звучит. Приятно было отвлечься от вечных женских «ути-пути». Ты размахивал руками, попадал рукавами в мою тарелку, каша летала в меня, и я хохотал.

— Значит, ваш сын был развит не по годам? — спросила Анна де ла Валет.

— Это как посмотреть, — ответил ты, дружески ткнув меня кулаком в плечо.

Действительно, заговорил я в полгода, а пошел только в полтора. Ты считал, что причина в тебе, и явно этим гордился, ведь и здесь я тебе подражал: бойко болтал, но не желал вставать на ноги. На прогулке в парке я категорически отказывался вылезать из коляски. Мимо ковыляли карапузы еще младше меня, а я тыкал в них пальцем: «Смотри, какие они смешные, мам». Ты тоже часто падал, мог сверзиться с лестницы у Дворца правосудия, «опять нога подвела» — а я думал, ты так шутишь, передразниваешь малышей из парка, чьи нелепые падения отбивали у меня охоту сделать первые шаги. Детская коляска потихоньку превращалась в инвалидное кресло. Родня переживала, педиатр бил тревогу.

— Замечательная история, мэтр, спасибо, что поговорили с нами о новой постановке «За закрытыми дверями», надеюсь, гастроли тоже пройдут удачно.

Я был поражен. Интервью закончилось, а я не смог и слова вставить ни о Сартре, ни об актерах, ни о режиссерской концепции. Слушатели радио Монте-Карло теперь знали, как меня в детстве кормили, на чем катали. И ты очень собой гордился. Правда, всего не успел рассказать и поймал репортершу на лестнице, чтобы продолжить — без микрофона про педиатра: тот все больше сомневался, смогу ли я вообще ходить, и ты встал на мою защиту:

— Доктор, он ходит — мысленно. Он готовится. Он и

говорить сразу начал фразами. Встанет на ноги и сразу пробежит стометровку. Верно, малыш?

— Вопрос серьезный, мэтр, мне не до шуток, — укорил тебя педиатр.

— А я и не шучу. Покажи-ка ему, Дидье.

Уж не знаю, сам ли я это запомнил или слышал потом от доктора Рэбоди, милого печального человека, которого принимал за обожравшегося людоеда — у него в кабинете стояло с десяток больших старых пустых колыбелей. Но в ушах у меня до сих пор звучит твой голос, полный тревоги и непоколебимого оптимизма. Ну разве я мог тебя подвести, уронить твой престиж в глазах доктора?

Я встал и пошел.

Через семнадцать лет после этого «спуска на ноги» твое несокрушимое доверие спасет меня от другой формы паралича. От нервной депрессии, покорности судьбе, от полной капитуляции.

Но не будем торопить события. Всерьез мысли о самоубийстве посещали меня в девять лет и в восемнадцать — любовные терзания я в расчет не принимаю. В первый раз ты не особенно вмешивался, во второй — наоборот, был очень активен, но в обоих случаях помог мне именно ты.

Летом 1969 года — когда ты почти не ходил, в твоих глазах читалась обреченность, и были отвергнуты в двадцать пятый раз два моих первых романа — ты повез маму, бабушку с дедушкой и меня обедать в рыбный ресторан на мыс Камарат. Мы праздновали годовщину вашей свадьбы, я старался держать себя в руках, но хотелось одного — утопиться в море. Меня убивало унизительное ожидание ответа от издателей, в котором почти всегда я читал одну и ту же стандартную фразу: мол, роман не вписывается ни в одну из их серий. Если письмо носило более личный характер, тон его был вызывающе оскорбительным. Последней каплей оказалось послание из редакции «Галлимара», в котором мой стиль назывался «неудобоваримой смесью из детских глупостей, впрочем, извинительных для столь юного автора, и самых избитых клише из детективов». Вот гады! Я вынашивал план мести: представлял, как умру, а мой дед напишет передовицу в «Нис-Матен» («Девятилетний писатель покончил жизнь самоубийством по вине парижского издателя») — и тут в мой суп приземлились щипцы для омара.

Я кинул злобный взгляд на людей за соседним столиком: сидевшая напротив двух верзил старуха теперь орудовала щипцами для колки орехов.

— Ешь аккуратней, — раздраженно сказала мама, глядя на

мою забрызганную рубашку.

— Это не я виноват, это вон та бабка запулила в меня щипцами, скажи ей, пап!

Ты сидел как раз лицом к тому самому столику. Внезапно ты побледнел, вилка замерла на полпути ко рту.

— Знаешь, кто это? — спросил ты чуть слышно.

Я снова обернулся. Увидел лишь широкополую черную шляпу, остальное скрывали спины телохранителей.

— Грета Гарбо, — только и смог выдавить ты, заикаясь, дрожащими губами.

— Только этого не хватало, — вздохнула мама.

Таким я тебя еще не видел. Конечно, ты всегда боготворил эту шведскую кинодиву, называл ее богиней и водил меня в синематеку Ниццы смотреть «Безрадостный переулок»[51] и «Королеву Христину».[52] Я уважал твои чувства, но не слишком любил таких загадочных и холодных женщин, мне больше нравилась Дайана Ригг в «Мстителях».[53]

Ты не мог глаз оторвать от актрисы, судорожно вдавливая гренок в соус айоли.

— Иди, — шепотом сказал ты.

— Куда?

— Отнеси ей щипцы.

Прилив рыцарской гордости мгновенно развеял мою депрессию. Ты возложил на меня миссию. Назначил доверенным лицом, посланником к женщине твоей мечты. Осознавая всю важность такого поручения, я выловил щипцы из супа, где они лежали рядом с куском мероу и ломтиком картофеля, встал, выпятил грудь и пошел.

— Здравствуйте, мадам Гарбо.

Увидев у меня в руках острый предмет, телохранители вскочили, чтобы заслонить хозяйку, но мои габариты их успокоили, и револьверы остались в кобуре. Огромная шляпа качнулась назад, открыв моему взору несколько сантиметров морщин вокруг огромных черных очков. Я выразил ей свое почтение и стал объяснять, в чем дело. Вышло длинновато. Один верзила переводил. Шляпа с очками молча кивнула и снова принялась за омара. Телохранители опять уселись за стол, потеряв ко мне интерес.

Я чуть-чуть подождал, глядя, как звезда препарирует ракообразное. Потом положил щипцы на стол и вернулся обратно.

— Ну что?

Ты смотрел на меня, сгорая от нетерпения, ну просто ребенок, который ждет у елки своего подарка.

— Что она сказала?

Я нервно сглотнул. Разве можно было так тебя разочаровать, так обмануть твои ожидания, подсунув пустую обертку? Я стал импровизировать:

— Ну, извинилась, сказала, что не нарочно, а я сказал, что ты ее большой поклонник, и что мы смотрели все ее фильмы, она сказала: — надо же, как мило.

Я замолчал.

— А дальше?

Твой восторг вернул мне радость жизни. И я забыл о неудачах, о планах свести счеты с жизнью, о твоей равнодушной богине. Надо было врать дальше — ведь ты ждал продолжения.

— Она спросила, чем я занимаюсь, я говорю — пишу, я — писатель, ну, она и спрашивает, пишу ли я пьесы, я ей — да…

Ты захлопал в ладоши, призывая в свидетели маму, которая лишь подняла глаза к небу.

— А она что?

Тебе хотелось чуда, и я пустился во все тяжкие.

— Сказала: «Какая удача, я как раз ищу пьесу, если у вас найдется для меня роль, пришлите мне текст».

— Куда?

Ты вскочил, вцепившись мне в руку. И тут я спасовал.

— Как, ты не взял у нее адрес? — накинулся ты на меня.

— Пустяки, я найду, — заверил тебя дедушка Жорж. Он набирал светскую хронику в «Нис-Матен» и знал все и обо всех приезжавших на Лазурный берег.

— Какая она вблизи?

— Ничего, симпатичная.

— Ешьте, а то остынет, — вмешалась мама.

Ты ошалело смотрел на меня и качал головой. Что тебя так потрясло — мое общение с твоим кумиром или мое умение лгать? Это осталось загадкой, да и пусть: может ты и не сразу клюнул на мои выдумки, но все же клюнул. Вскоре вся Ницца узнала, что богиня заказала мне пьесу, деваться было некуда, я взялся ее писать. К тому же, тот виртуальный заказ прогнал тоску прочь и вернул веру в удачу.

Я решил написать трагедию в стихах, заперся с фотографией Гарбо и словарем рифм и в поте лица считал на пальцах стопы, чтобы выдержать размер. То была история о мальчике-сироте, которого кинозвезда облила в ресторане рыбной похлебкой, а потом полюбила, несмотря на разницу в возрасте, и решила спасти от лейкемии, отдав ему свою кровь. Не помню, почему, но пьеса называлась «Зовите меня Виктор», наверное, по имени главного героя. Я читал тебе сцену за сценой, ты подавал

реплики, декламировал завывающим голосом мои вирши, исправлял медицинскую лексику, разбавлял трагизм юмором.

— Она будет в восторге, — радовался ты.

Я рассказал о нашей пьесе крестному, который некогда имел счастье отужинать с актрисой в эпоху ее славы. Мне казалось, Гарбо благосклоннее отнесется к пьесе, если получит ее из рук старого знакомого. Анри не проявил никакого энтузиазма и в два счета разделался с моей мечтой: его подруга Грета давным-давно удалилась от мира и в театре больше не играет. И добавил, желая меня утешить, что богиня совсем вышла в тираж.

Я скрыл от тебя эту жестокую правду, чтобы надежда услышать наши стихи из уст Гарбо согревала тебя, пока тебе будут «пилить» бедро.

*

Кое-кто, возможно, решит, что я чересчур усложнял себе жизнь, надеясь облегчить ее тебе. Просто больше всего на свете я боялся разочаровать тебя. Ты был продавцом чудес, а меня выбрал поставщиком, и я никак не мог обмануть оказанное мне доверие.

Прошло девять лет и три месяца после моей «беседы» с Гретой Гарбо, был вторник, мы сидели за импровизированным обедом в кабинете. Я тогда изучал современную литературу на подготовительных курсах «Эколь нормаль» при лицее Массена, откуда до твоей конторы в Старой Ницце было рукой подать, а поскольку ты экономил время и обедал, не выходя с работы, я пользовался случаем перекусить с тобой, а не в столовой.

До этого целый год я посвятил зубрежке на фоне любовных переживаний, курсы грезились мне раем земным: никакой программы, только великие профессора, потихоньку приобщающие нас к культуре. Вместо этого я попал в военный лагерь с припадочными зубрилами и нервными учителями, которые с нетерпением смотрели на часы, стоило ученику задать вопрос. Нормальные человеческие отношения у меня сложились только с чудаковатым философом, который всегда ходил в белой рубашке, волосы его были идеально зачесаны, и под псевдонимом он публиковал эротические стихи.

— Бегите! — воскликнул он и скорчил жуткую гримасу, узнав, что здесь я собираюсь обогатиться духовно. — Бегите, несчастный, вы тут погибните, и нас за собой потяните!

На курсы стоило ходить исключительно ради его лекций, но этот верный последователь Ницше сам указал мне на дверь. Да

только куда податься? В наш университет? Ты так мечтал, чтобы я занимался литературой, что счел бы мое бегство личным поражением. Или в Париж — устраивать голодовки в издательствах? Только так я мог привлечь к себе внимание этих «торговцев бумагой», которые возвращали мне рукописи, не читая — восемь раз из десяти приклеенный к конверту волосок оставался нетронутым. Невозможно ходить на курсы и при этом, как минимум четыре часа в день работать над новым романом, а если не отдаваться делу всей душой, ничего путного не выйдет.

Что же делать? Ловить журавля в небе или ухватить покрепче синицу? Журавль высоко — не дотянуться, но и синица такая зачем? В свои неполные восемнадцать я строил из себя победителя, а сам давно смирился с ролью неудачника. В любви не везет, в душе пустота, на губах — герпес, лицо похоже на пиццу, я держался только благодаря тебе — ты в меня верил. Вот я и врал тебе. Постоянно. За обедом у тебя в кабинете ты забывал про бутерброд с ветчиной, слушая мои захватывающие рассказы об учебе на курсах. Еще я хвастался, что издательства «Сей» и «Альбен Мишель» дерутся за право напечатать мою первую книгу, — так оно и будет, два года спустя.

Изо всех сил скрывая свое отчаяние, я отвлекал тебя ложной дилеммой — мы без конца обсуждали достоинства двух издательств, в одном из которых в те времена печатали лишь увенчанных премиями писателей, чьи книги продавались с переменным успехом, другое делало ставку на коммерческие книги и подвергалось постоянным нападкам критиков. Мы никак не могли сделать выбор, а я тянул время, надеясь, что мое вранье окажется пророческим. Наверное, я хорошо играл свою роль, но ты свою еще лучше.

Все это продолжалось до тех пор, пока не настало время сдавать невыполненные домашние задания. Тут-то я и раскололся. Пересказывая тебе беседу с Аленом Рене — он якобы позвонил и предложил снять фильм по моему роману, если я напишу сценарий до выхода книги (отличный способ повременить с выбором несуществующего издателя), — я вдруг разрыдался. Ты поспешно проглотил кусок бутерброда.

— Что с тобой?

Отступать было некуда. Со мной, говорю, все плохо, нет больше сил разрываться, я попусту трачу время на курсах, и хотя этот путь надежен, он не для меня, лучше уж сигануть в пропасть, чем зайти в тупик.

— Так сигай, в чем же дело? Раз тебе так плохо на курсах, бросай сейчас же. Маме я все объясню. Даже ради нашего спокойствия не стоит учиться тому, к чему душа не лежит, и

трепать нервы издателям.

Ты говорил с такой искренностью, с такой теплотой, что я решил идти до конца:

— Папа… Я немного приврал. У меня пока нет издателя.

Нимало не растерявшись, ты продолжил, как защитник в суде:

— И что это меняет? Тем более нужно бросать. В лицее Массена издателя не найдешь.

Тут зазвонил телефон. Это крестный. Мой амбициозный план поступления в «Эколь нормаль» очень льстил его самолюбию, поэтому он время от времени справлялся, как идут мои дела.

— Главное, чтобы он не пугался, Рене. Только вчера я рассказывал принцессе Грейс, как преподаватели стращают учеников: «Сегодня вас тридцать — а через десять дней будет пятнадцать». Если не удержится в обойме, все труды пойдут прахом.

— Ты только не переживай, Анри. Дидье понял, что уровень педагогов не так уж высок, да и работают они спустя рукава. Он бы, конечно, поучился там, чтобы нас порадовать, но ничего не получится. Издательство «Сей» предлагает ему контракт. Одна загвоздка — Роже Бастид хочет, чтобы он писал по две книги в год, какие тут курсы, придется ими пожертвовать. Ладно, я тебе перезвоню.

Ты повесил трубку и весело прокомментировал реакцию Анри:

— Он просто обалдел. Так ему и надо, вместе с его принцессой.

— Папа… Он — Франсуа Режис.

— Что-что?

— В издательстве «Сей» работает Франсуа Режис Бастид. А Роже Бастид вместе с Антуаном Блонденом освещает Тур де Франс.

— Черт! Ладно, не страшно: твой крестный ничего в этом не смыслит. Пусть будет Франсуа Режис. Нужно где-нибудь записать. Не помню, куда сунул копию его письма, сделай мне еще одну. Он ведь тебя там хвалит?

В ответ я лишь поморщился. Я методично обрабатывал главного редактора «Сей», который в то время вел на «Франс Интер» передачу «Маска и Перо». Вначале он всегда разбирал письма слушателей, и я отправил ему свою восторженную рецензию на фильм «Энни Холл», где весьма умело провел параллель между творчеством Вуди Аллена и своими собственными литературными установками. Бастид прочел мое письмо в эфире. Неделю спустя он получил мой роман «Ошибки»

— история двух лицеистов и их нежеланного дитяти, зачатого во время подготовки к экзаменам. Он ответил на бланке издательства, предрекая мне большое будущее, но пока советовал мне не спешить с публикацией, потому что «не считает возможным эпатировать парижскую публику с помощью одаренных лицеистов».

— Но ты же говорил, что шеф ему за это шею намылил, дескать, чем автор моложе, тем проще продать?

— Ну да, говорил.

Ты вздохнул, закурил тонкую сигарку, поскреб ногтем жирное пятно на галстуке и надел пиджак, время — почти два часа, скоро придет клиент.

— В любом случае, куй железо пока горячо: уходи с курсов и занимайся только своими книгами. Сегодня вечером поговорим с мамой, хорошо? Все, беги, а то опоздаешь.

Я брел по улице Александр-Мари в полной растерянности, и хотя на душе стало легче, надежды не прибавилось. На углу у дворца Корвези я зажмурился, солнце слепило глаза. Солнечные очки остались у тебя в кабинете. Пришлось вернуться, снова подняться на третий этаж. Проходя через все еще пустую приемную, я услышал, как ты говоришь по телефону. С сильным акцентом, как еврей из Бруклина. Я подкрался на цыпочках, чтобы паркет не скрипел.

— …*Ask* Франсуа Режиса Бастида, это ведь он приобрел *movie rights* на «Ошибки». *Yes*, права на экранизацию. Это *book*, книга Дайдая ван Ковеларта, я слышал, вы ее хотите *publish*, издавать, да? Вуди прочел ее, когда отдыхал в Ницце, просит меня купить — Вуди Аллен, *you know*? Я его *producer*, продюсер, *right*. Нет, нет, я сам перезвоню. *Have a good day*.

Ты поднял глаза и увидел меня в дверях, но не сразу сумел выйти из образа американского продюсера — лицо озабоченное, очки торчат в волосах, лоб наморщен, в зубах — «Давидофф». Такой восхитительный, такой трогательный в своей хитрой и наивной попытке воплотить мои фантазии в жизнь.

Попавшись с поличным, ты зачем-то спрятал телефонную трубку под стол. Как мать Ромена Гари в «Обещании на рассвете». Без гроша в кармане, она выбивалась из сил, но каждый день кормила тринадцатилетнего сына бифштексом, чтобы у него были силы написать шедевр. Мать смотрела, как сын ест бифштекс, сама она к мясу не притрагивалась, уверяя, что любит только овощи. Однажды он застал ее на кухне — с набитым ртом и сковородкой на коленях. «Она старательно вытирала дно кусочками хлеба и жадно запихивала их в рот; а при виде меня молниеносным движением набросила полотенце на сковороду.

Тут-то до меня дошло, почему она притворяется вегетарианкой».

И я вдруг понял в твоем кабинете, что творилось тогда в душе юного Гари. Ты тоже отдавал мне то, о чем мечтал больше всего на свете. Я гордился тобой, но мне было стыдно. Восхищался тобой и злился. Я чувствовал себя виноватым: ты столько делал за меня, с таким упорством и благородством, и я только острее осознавал, что не достоин, не тяну. Я был твоей надеждой, и ее не оправдал, и ты пришел мне на помощь, подхватил эстафету, довел мое вранье до абсурда, не думая о последствиях.

В моих глазах ты увидел укор и тут же начал оправдываться:

— Нет, ну что я такого сделал? Кто же откажется издать книгу, по которой снимают кино. Я немножко набил цену.

Нет, ты попытался продать отведенный под сельхознужды участок по цене участка под застройку.

— Папа, я хочу добиться успеха сам.

— Отлично. Раз ты так, я перезвоню и откажусь от покупки прав. Тебе же хуже!

Столбик пепла упал на бювар, ты раздраженно смахнул его на пол и уронил лампу, я попытался ее поймать и опрокинул вазу. Осколки собирали вместе. Обстановка разрядилась благодаря нашей с тобой неуклюжести. И вот мы снова улыбаемся, поглядывая друг на друга.

— Все равно они мне не поверили, — подытожил ты.

На самом деле, ты так не думал и, возможно, был прав. Два года спустя Жан Марк Робертс — очень быстро, прямо за полдня, принял решение публиковать мою первую книжку «Двадцать лет с небольшим», опередив Ришара Дюкуссе из «Альбен Мишель» (тот перехватит меня после четвертой, когда «Сей» сменит издательскую политику) и назначил мне встречу в офисе на улице Жакоб. Там был и Франсуа Режис Бастид. Он помнил и мое письмо в «Маску и Перо», и свой ответ. Теперь его назначили послом в Вене, он уходил из издательства, а для меня там все только начиналось, но он лично захотел пожелать мне удачи. Мы говорили о планах на будущее, и вдруг он спросил про наш проект с Вуди Алленом. Мне стоило больших усилий, чтобы не покраснеть. Но, решив не выдавать тебя, ответил:

— Он в разработке. Но ведь это все пустые мечты!

Бастид поднял на меня грустные, как у борзой, глаза и произнес хорошо поставленным голосом радиоведущего:

— Мечты пустыми не бывают, вот вам доказательство.

Он протянул мне ручку, и я подписал договор.

Довольно, я долго оттягивал этот момент, но пора наконец во всем тебе признаться. Или себе самому. Больше юлить не стану. Последняя недосказанность между нами дорого мне обошлась.

Двадцать восемь лет назад я покаялся в одном вранье, теперь пришло время и для другого. Расскажу все, как есть, хотя думаю, ты и сам все знал.

Когда у тебя нашли рак (ободочная кишка, печень и метастазы в легких), врач сразу заявил, что химиотерапия девяностолетнему больному не поможет, только отравит последние месяцы жизни. Следуя его совету, жена и дети решили «оставить тебя в покое» и ничего не говорить. Впрочем, доктор Джанеттини, знавший тебя как свои пять пальцев, не преминул заметить:

— Чем-чем, а глупостью он никогда не страдал: как только начнутся боли и проблемы с дыханием, сам догадается. Что будете делать?

Что смогли, то и сделали. Болей у тебя не было, а дыхание даже улучшилось. Думаю, благодаря Тини-Скану — маленькой голубой коробочке, разработанной в Бельгии физиком Жаном Мари Данзом и гомеопатом Франсин Дельво.[54] Это генератор пульсирующих магнитных полей, запатентованный в соответствии с Европейской директивой по медицинским приборам. Как известно, каждый орган человеческого организма излучает особые частоты. Тини-Скан позволяет путем обычной ручной настройки передавать волны нормальной частоты от здоровой клетки пораженным зонам. Прибор не претендует на то, чтобы полностью заменить традиционное лечение, но позволяет восстановить энергию организма без каких бы то ни было побочных эффектов. Он не лечит болезнь, а перепрограммирует клетки. Он, как камертон, возвращает расстроенному инструменту чистое звучание.

Тини-Скан мог замедлить рост метастазов, но не мог обратить вспять процесс, о котором ты ничего не знал. Как бы все повернулось, скажи мы правду, заставь мы тебя сознательно вступить с болезнью в борьбу? Мама никак не может простить себе, что мы злоупотребили твоим доверием, скрыв истину. Возможно, это и правда была наша ошибка, не знаю.

В начале 80-х ученые из научно-исследовательского центра в Далласе (штат Техас) добились удивительных результатов. Исследовательская группа под руководством доктора Саймонтона ставила перед пациентами задачу сосредоточиться на раковых клетках и увидеть в них не лютых врагов, но безвинных жертв, наставить на путь истинный и объяснить — без ненависти и страха, — что они обязаны пожертвовать собой ради выживания всего организма. Эта техника самовнушения использовалась и как последнее средство в борьбе с болезнью, и как дополнение к обычному курсу лечения, она дала сотни случаев ремиссии, а

иногда и полного выздоровления.[55]

Метод доктора Саймонтона предполагает, что пациент ясно понимает свое положение и сам хочет вылечиться. Может, мы напрасно не объединили усилия и не провели такой эксперимент, но я не уверен, что ты так уж мечтал о выздоровлении. Чудеса давно вошли у тебя в привычку. Ты так часто брал верх над своим телом, укрощал болезнь на зло судьбе… Но сейчас все было по-другому. По-моему, ты твердо решил «смотать удочки», и я не хотел *принуждать* тебя к борьбе. Сражаться с неизлечимой болезнью, только чтобы порадовать нас. Поставь я тебя перед выбором, ты бы наверняка принял бой, поднял бы брошенную судьбой перчатку, ты ведь очень любил книги физика Майкла Тэлбота[56] и с удовольствием читал о возможностях человеческого мозга, о воздействии позитивно направленной мысли на организм. Но это был бы мой бой, а не твой. В глубине души ты уже подписал перемирие и ввязался бы в драку только ради меня.

Кроме того, неожиданная статистика, полученная психологом Жанной Ахтерберг, ставит под сомнение революционные открытия ученых из Техасского университета. Она на примере сотен пациентов доказала, что силой самовнушения можно вылечить рак даже в последней стадии.[57] Но, как показывают ее эксперименты, полностью выздоравливают только больные с самым низким культурным уровнем. Те, у кого слово «опухоль» не вызывает никаких конкретных ассоциаций, для кого термин «метастазы» не становится смертным приговором, то есть все те, кто из-за недостатка знаний и бедности воображения не отождествляет рак с неминуемой смертью.

Ахтерберг пошла еще дальше, обнародовав результаты многолетнего исследования: средний показатель смертности от онкологических заболеваний составляет 18 % у населения в целом и всего 4 % у умственно отсталых. В период с 1925 по 1978 гг. среди последних не было зарегистрировано *ни одного случая* лейкемии. Что из этого следует? Что человек с ограниченными умственными способностями, будь то врожденная патология или следствие заболевания, не способен *сотворить* себе рак, а если болезнь возникает, он не реагирует. Включается только инстинкт выживания: больной, как ребенок, говорит болезни: «нет», — и это срабатывает.

Я считаю, что еще несколько лет назад это могло бы сработать и для тебя. Твоя по-детски чистая душа справлялась с избытком интеллекта. Но к лету 2005 года все изменилось. Дважды при мне ты дал сбой и вышел из роли. Даже глядя на морских рыбок, ты не радовался, подводный мир тебя не занимал.

В последний раз, когда я вытащил тебя на берег, ты снял запотевшую маску и, жадно глотая ртом воздух, сказал:

— Почему твоя мать должна со мной мучиться? Если так дальше пойдет, ей богу, я себя порешу!

Я не удивился. Мы и без того прекрасно знали, что из любви к нам ты готов на все. Расскажи мы тебе про рак, ты бы, конечно, из окна не выбросился, но постарался бы ускорить ход событий, и добился бы своего, в этом я не сомневаюсь. Сила духа, увы, работает в обоих направлениях.

Итак, «официально» мы боролись с тяжелой анемией, вызванной колитом. Дефицит железа лишал тебя сил, а побочные эффекты медленно убивали. Ты всю жизнь терпел боль, но со слабостью столкнулся впервые. Друзьям ты жаловался: в голове пусто, и у нас сердце кровью обливалось. Ты догадывался, что больше не сможешь ее заполнить простым усилием воли.

Тебе осточертело оттягивать финал. Карабкаться в гору, чтобы тут же скатиться вниз. Ты считал это пустой тратой времени, бессмысленной отсрочкой, мукой для всех, и не хотел, чтобы мы запомнили тебя таким. Тебя вовсе не пугала смерть, а напротив, манила неизвестность. Возможно, ты считал наши недомолвки особым видом психотерапии, жалел нас и притворялся, что веришь, когда мы плутовали с анализами. Словом, подыгрывал нам, как когда-то ослепшей бабушке, которая в свою очередь четыре года скрывала от дочери смерть твоего отца.

Я говорил, что надо водить маленькой голубой коробочкой в районе кишечника, печени и легких «чтобы чакры открылись», и ты послушно будоражил свои потоки энергии, лишь бы не расстраивать нас. Наша любовь и забота придавали тебе силы, которых хватало, чтобы поддерживать разговор и составлять обращение в апелляционный суд по делу о сервитуте проезда. А в остальном… Ты по-прежнему *учтивый, хитроумный* и *уверенный в себе,* просто не вмешивался в ход событий.

*

И вот настал день, когда ты взбунтовался против голубой коробочки.

— Дидье я не хочу говорить, но это все проклятая коробка, из-за нее я стал таким хилым. Уж не знаю, из чего делают эти волны, но они меня доконают! Все, с меня хватит!

Мама, улучив момент, позвонила мне. Прошло несколько дней, дышать тебе становилось все труднее. Я примчался в

Вильфранш, приготовившись все тебе рассказать. Но, когда я вошел, ты сидел в кресле, прижав маленькую голубую коробочку к солнечному сплетению и немедленно принялся ее расхваливать. Я заметил, что прибор не включен. Как быть?

Решил пойти поплавать и подумать — море часто помогает принять правильное решение. Одолев кролем километровую дистанцию, я решил играть по твоим правилам. Быть таким же учтивым, хитроумным и уверенным в себе.

Вернувшись, я застал дома спасателей. Пока я плавал и размышлял, тебе стало плохо — с тобой случился токсический шок. Тебя отвезли в больницу в Монако, откуда ты уже не вернулся.

Вот уже год, как тебя нет. Я пишу эти строки, сидя за обеденным столом, который ты вечно заваливал своими папками. Они уносят меня к морю, но не в Вильфранш, а в Ниццу, в то место, где так хорошо думается и которое я называю «Бухта Праха». Именно там я прогуливал лекции после твоего звонка в «Сей» и там же с наслаждением писал прошение об отчислении.

Этот скучный галечный пляж под стенами Оперного театра Ниццы — не так уж и хорош, зато в двадцать лет я получил от него совершенно неожиданный подарок.

В декабре, после очередного отказа от издателя и в ожидании следующего, я в одиночестве плавал кролем в ледяной воде и вдруг увидел, как с Английской набережной спускается к морю одна моя знакомая. Элен изучала современную литературу в университете, я тоже там изредка появлялся, чтобы не лишиться студенческого билета, а с ним и скидки на билеты в кино. Она писала исследование, доказывающее, что Ромен Гари и Эмиль Ажар — один и тот же человек, хотя бы потому, что русские слова «жар» и «гори» имеют общую семантику. Этот довод приводил преподавателей Элен в полное замешательство. Она одна на всем Лазурном берегу докопалась до истины, которая два года спустя произвела сенсацию во французской прессе, и сумела убедить меня в своей правоте, сравнивая в разных текстах обороты речи, резкие смены интонаций, мелодику отчаяния и характерный юмор.

Элен была самой красивой девушкой на факультете, резкой, яркой, очень ответственной, но всерьез принимала лишь то, что считала смешным. Она походила на Монику Витти в «Приключении», только немного прихрамывала. Если кто-то начинал восхищаться ее внешностью, она отвечала: «Этим „сувениром“ из детства ее наградил полиомиелит.»

Элен сводила меня с ума — уж слишком была хороша, а в ответ на мою робкую попытку ее поцеловать, грубо и доходчиво объяснила, что не нуждается в моей жалости. Мне тогда это казалось гордыней, хотя, быть может, она так деликатно объясняла, что я ей не нравлюсь. Зато ей очень нравилось обсуждать со мной «писателя всей ее жизни». Я смирился, и чтобы хоть как-то проникнуть в ее мир, запоем читал романы Гари и Ажара, которого она называла «изнанкой Гари». Нередко любимая женщина не отвечает вам взаимностью и в утешение дарит подарок, с которым вы не расстаетесь уже никогда. За неделю до этой встречи Гари покончил с собой, и мы осиротели. Дважды.

В тот день, оказавшись на пляже, Элен решительно направилась в мою сторону, она прихрамывала, но со стороны могло показаться, что это из-за гальки. Я поплыл к берегу. В руках она держала банку из-под какао «Несквик». Она сняла шерстяное платье, вошла в воду в лифчике и трусиках фиолетового цвета, причем даже не вздрогнув, словно на дворе июнь, а не декабрь. Открыла передо мной банку и сказала самым что ни на есть будничным тоном:

— Эмиль Ажар.

У меня тут же разыгралось воображение. Неужели Элен прорвалась на кремацию Гари, ухитрилась стянуть полбанки праха и называет его псевдонимом любимого писателя? Можем мы теперь точно определить, что у Гари было от Ажара, или достаточно прикинуть на глаз?

— Я сожгла «Обещание на рассвете» и «Голубчика», а пепел смешала, — пояснила она.

Смешала обожаемого Гари с драгоценным Ажаром. А теперь развеет их вместе — Эмиль и Ромен будут связаны навсегда, даже если она ошибалась. Я стал свидетелем их посмертного воссоединения.

Мы высыпали пепел в море, раскрыв ему тайну Романа Кацева, который в тридцатые годы, будучи нашим ровесником, проплывал тут каждое утро по три километра, чтобы отвлечься от мыслей о неприступных девушках.

А потом Элен, к величайшему моему удивлению, прижалась ко мне всем телом и прошептала на ухо:

— В память о них.

Она стянула с меня плавки, и я испытал безумное счастье и одновременно жуткий шок: Элен почему-то не знала, что парням не слишком комфортно заниматься любовью в пятнадцатиградусной воде. Зато здесь мы были на равных — в море она не хромала.

Мы оба заболели ангиной и не виделись, а только перезванивались и договорились каждый год совершать паломничество на место литературной кремации. Я, правда, выторговал перенос годовщины на полгода — по климатическим соображениям. Так что следующий День Праха выпадал на июнь.

Полгода спустя я вернулся на пляж. Один. Элен влюбилась в аспиранта, писавшего диссертацию по Шатобриану. Я больше никогда не видел ее на пляже Оперы и много лет справлял нашу годовщину в гордом одиночестве, храня за двоих верность Гари-Ажару и банке из-под какао.

«Фея Пепла» забыла меня. Я слышал от общей знакомой, что она теперь — мать семейства, живет в Систероне, управляет

рестораном второго мужа и читать ей некогда. Ну и пусть она меня не помнит, зато помню я. Я потерял Элен, но писатель, чей «прах» мы развеяли 10 декабря 1980 года, чтобы объединить две его ипостаси, остался моим любимым автором. Человек с двумя именами, горящим и жарким, не может обратиться в пепел, и до меня долетают его слова: «Юмор — это проявление человеческого достоинства, он закрепляет превосходство человека над обстоятельствами».

И каждый раз, купаясь в Ницце под Оперным театром и наглотавшись воды, я уношу с собой немного Гари и чуточку Ажара в память о проницательной студентке, которая однажды зимним утром, обняв меня, сумела связать воедино печаль и смех, страсть и ледяную воду, самоубийство и жизнь.

*

Я отвлекся на это воспоминание, но о тебе не забыл. Напротив. Мне бы очень хотелось, чтобы там у себя ты встретился со своим однокашником из лицея Массены. Надеюсь, ты больше не злишься, что в 1932 году, когда вам было по восемнадцать лет, он разгромил тебя на чемпионате по настольному теннису; и если вдруг у вас выйдет как-то договориться — пусть Ромен Гари поучит тебя литературному мастерству, а ты научи его быть счастливым.

Мы расстаемся, папа. Приходи, когда захочешь, но мне пора возвращаться к работе, да и тебе тоже. Я не хочу держать тебя при себе, не хочу жить воспоминаниями. Я буду выдумывать новых героев, новые истории. Наверняка ты этого от меня и ждешь.

Все ли мы сказали друг другу? Нет, конечно, мы еще поговорим наедине. Если захочешь. Если ты не слишком занят, если я все правильно понимаю. Здесь, на земле, назло всем испытаниям, мукам, смертям, ты неизменно дарил окружающим радость, а сочувствия не просил. Ты не хотел, чтобы тебя оплакивали. Вот почему я смеюсь. Это вовсе не трудно. Не думал, что твоя душа и без тела сможет распространить вокруг себя такой свет. Такую могучую жизненную силу.

Я чувствую, как ты ликуешь, актерствуешь и шалишь, отпросившись погулять в дольнем мире. Знаю, ты вкалываешь до седьмого пота вместе со мной: узнаю твое нетерпение, жажду новых историй, буйное воображение и редакторский педантизм. Я по-прежнему смотрю на мир твоими глазами, ты всегда для меня желанный гость, ты пробуждаешь во мне радость жизни. Некоторых покойников лучше сразу выставить из-за стола, а с другими можно пировать вечно.

Думаю, там тебе куда лучше, чем на пенсии. Вкалываешь там вовсю. Так держать. Продолжай работать — в Небесной канцелярии. Добивайся отсрочек наказания. Берись за безнадежные дела. И помогай. Как прежде. Спасай обманутых, обездоленных, несправедливо осужденных, таких, как ты. Используй смерть на полную катушку. Ты всегда умел заражать людей своей энергией, теперь можешь разбрасывать ее направо и налево. Пусть достанется всем, кто сумеет ее преобразовать для пущей эффективности. Только этого я, законченный эгоист, прошу для тебя у Бога, в которого ты верил так весело. Не у Бога, скроенного по стандартной мерке молитвослова, а у Бога, обитающего на высотах духа.

*

В семь лет я отверг тебя, а в восемь принял назад. После твоей смерти я снова взял тебя в отцы. А теперь отпускаю на свободу. К новым друзьям, к будущим клиентам — ко всем, кто прочел эту книгу и, надеюсь, привязался к тебе.

Что до меня… Я часто слышу: «Ваш отец так вами гордился».

Нет, все гораздо сложнее. С раннего детства ты учил меня быть свободным — свободным исполнять твои мечты и думать, будто я сам выбираю, как жить и что делать. Надеюсь, это все еще так.

Ты наделил меня своим чувством юмора, приобщил к своим фантазиям, привил вкус к литературе, театру, песне, фантастике, поощрял мое донжуанство, советовал подольше наслаждаться холостяцкой свободой и более или менее осознанно навязал мне маршрут, которым не смог пройти сам. Я получил иллюзию свободы выбора и стал тем, кем ты хотел. Тем, кем ты не стал. Даже в творчестве мы похожи, только ты всю жизнь оставался любителем, а я с семи лет рвался в профессионалы, чтобы удивить тебя прежде, чем ты умрешь.

Сорок лет я преодолевал преграды, строил воздушные замки, побеждал и проигрывал, был упорным и беспечным, жертвовал и наслаждался, короче говоря, вжился в роль, которую ты стремился и мечтал сыграть. Твоя душа вселилась в меня задолго до того, как покинула твое тело.

Ничего тут не поделаешь, надо идти дальше — с тяжелым сердцем и легкой душой. Продолжать творить, играть, воплощать. И пускай ты мне уже не помреж, но моим суфлером ты останешься навсегда.

notes

Примечания

1

Ж. Форестье (1890–1982) — французский врач. Заболевание обусловлено патологическим развитием костной ткани в связках и сухожилиях. (*Здесь и далее прим. перев.*).

2

Термин французского философа Анри Бергсона (1859–1941) основополагающее понятие в его теории «творческой эволюции».

3

Даниэль Ропс (1901–1965) — французский историк, писатель.

4

Литературная серия для детей и юношества издательства «Ашетт». Выходит с 1924 г.

5

Jalon — Богословский журнал лицеев западной Ниццы.

6

Лагийе Арлетт (1940) — политический деятель, член партии «Рабочая борьба», первая женщина, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента Франции.

7

Персонаж бельгийских комиксов Морриса «Счастливчик Люк» (1946 г.), один из братьев Далтонов, прототипами которых были реальные братья-ганстеры, промышлявшие на Диком Западе в конце XIX в.

8

Стен Лорел и Оливер Харди — комический американский дуэт.

9

Главная киностудии Ниццы, теперь носит название «Ривьера».

10

Фейад, Луи (1873–1925) — франц. режиссер, журналист, преподаватель, воспитал множество актеров, операторов, режиссеров.

11

Машен Альфред (1877–1929) — франц. режиссер.

12

Лербье, Марсель (1888–1979) — франц. режиссер-экспрессионист.

13

Ингрем, Рекс (1893–1950) — амер. режиссер и сценарист. Основал собственную студию во Франции, где и работал до 1933 года.

14

Свенсон, Глория (1899–1983) — амер. актриса.

15

Де Милль, Сесиль Блаунт (1881–1959) — амер. режиссер, продюсер, драматург.

16

Штрогейм, Эрих фон (1885–1957) — амер. режиссер, актер, сценарист, писатель.

17

Эмансипация (от лат. emancipatio) — объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным.

18

Знаменитые гастрономические дома Франции.

19

Вон! (*нем.*)

20

Конь умер, господин генерал (*нем.*).

21

Себастьян Лепрестр де Вобан (1633–1707) — маршал Франции, выдающийся военный инженер.

22

«Черные одежды» — приключенческий роман Поля Феваля.

23

В т. ч. «Реальность потустороннего мира и транскоммуникация» (Издательство «Le Rocher», 2005). — (*прим. авт.*)

Евангелие от Иоанна, 1:14. — (*прим. перев.*)

Жан-Мишель Майё (geobil@belgacom.net). — (*прим. авт.*)

Шалема, будущего Иерусалима.

27

Быт. 14:18–20.

28

Bardo Thodol — тибетская книга мертвых.

29

Быт. 14.

30

Евр. 7:1–3.

31

Лотреамон (1846–1870), франц. поэт. Ввел эстетику безобразного.

32

Персеполис — резиденция персидских царей.

33

«Безумные двадцатые» — характерны культом развлечений.

34

Джулиус (Граучо) Маркс (1890–1977) — американский актер, один из братьев Маркс, выступавших в кабаре и мюзик-холлах Нью-Йорка, лауреат премии «Оскар».

Ага-Хан — 48-й имам в 1885–1957, полит. деятель Индии.

Ренье III — князь Монако.

Утрилло, Морис (1883–1955) — франц. живописец, мастер лирического городского пейзажа.

Матисс, Анри (1869–1954) — франц. живописец, график, мастер декоративного искусства.

Вламинк, Морис де (1876–1958) — франц. живописец.

Донген, Кес (Корнелиус) ван (1877–1968) — франц. живописец.

Дюфи (1877–1953) — франц. художник широкого профиля.

36

По-французски «хищник» — *fauve,* отсюда — *fauvistes*, фовисты.

37

Голливудская звезда.

38

Герои одноименного романа Стивенсона.

39

Мишель Одиар (1920–1985) — писатель, сценарист.

40

Звезды Голливуда.

41

Международная благотворительная организация.

42

Полиция в вишистской Франции.

43

Французский художник-карикатурист.

44

Известные французские писатели.

45

Известный французский писатель.

46

Вебер Франсис (1937) — известный французский режиссер.

47

Минеральная вода.

48

Ревель Жан Франсуа (1924–2006) — франц. писатель, философ.

49

Оригинальные названия — *Je lui fais pouêt-pouêt* и *La Chanson de la femme à barbe* соответственно.

50

Женевьева Дорман — франц. журналистка и писательница.

51

Фильм 1925 г., режиссер Г. Пабст.

52

Фильм 1933 г., режиссер Р. Мамулян.

53

Сериал 1961–1969 гг., режиссер Д. Ливер, П. Хэммонд и др.

www.delvaux-danze.be (*прим. авт.*).

55

О. Карл Саймонтон. Поправиться вопреки всему (Л'Эпи, 1982). (*прим. авт.*).

56

Майкл Тэлбот. Вселенная — это голограмма (Поке, 1994) (*прим. авт.*).

57

Жанна Ахтерберг. Лечение и воображение (Нью-Сайенс Лайбрери, Бостон, Массачусетс, 1985) (*прим. авт.*).